

Даугава

В НОМЕРЕ:

Проза:

Л. КОВАЛЬ

Корни дикой
груши

А. КОЛБЕРГ

Рыболов и
монумент

публицистика

Почему
остановилась

социальная

теория

Мемориа

Зырянский Фауст

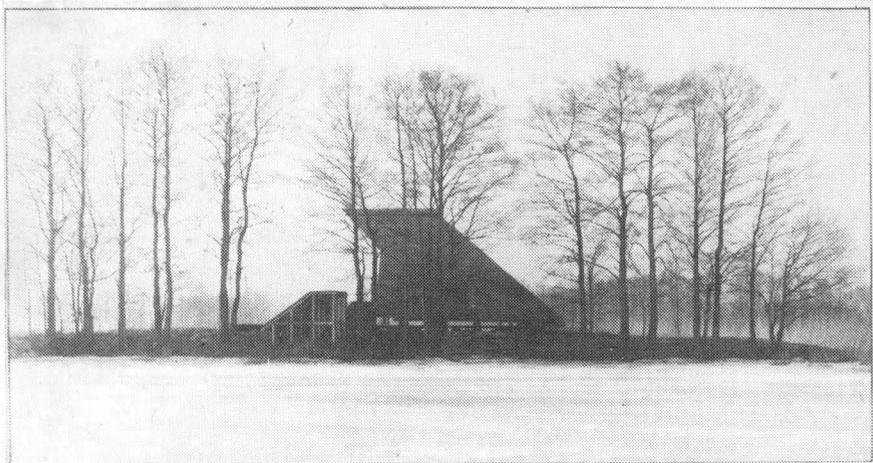
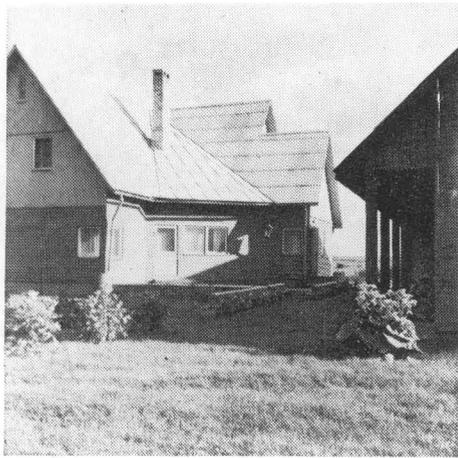
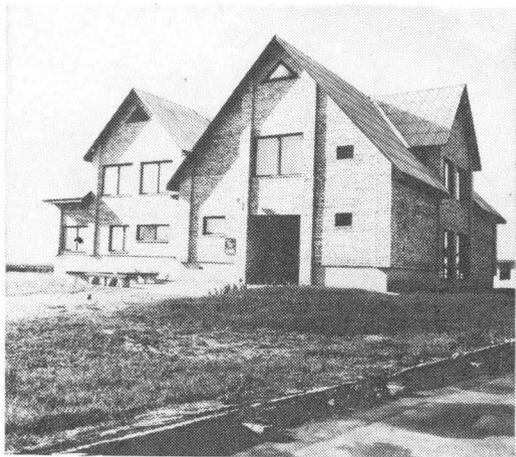
1988
5



СЕЛЬСКАЯ АРХИТЕКТУРА ЛАТВИИ

Архитектор Зайга Гайле
Фото Роланда Лакиса

Дом бытового обслуживания в колхозе «Падомяю Латвия».



▲ Современный хутор в колхозе «Падомяю Латвия».

▲ Открытая эстрада в колхозе-агрокомбинате «Падомяю Латвия».

Дзугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

5 (131)

МАЙ
1988

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

ЧАКЛАЙС М. Gaviļu roēta. Фрагменты . . .	3
КОВАЛЬ Л. Корни дикой груши. Главы из романа	10
ОШУРКОВА Е. Город. Стихи	71
КОЛБЕРГ А. Рыболов и монумент. Рассказ	74

Публицистика

ИЛЬИН В. Почему остановилась социальная теория	91
----------------------------------------------------------	----

Обзоры, размышления, рецензии

ЛЕВКИН А. Воспоминания, время, реальность	102
-------------------------------------------	-----

Memoria

БЕЛОКОНЬ С. Зырянский Фауст. Предисловие М. Зариньша	112
----------------------------------------------------------------	-----

Искусство

ЛУСЕ М. Каким быть сельскому дому . . .	125
-----------------------------------------	-----

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК КП ЛАТВИИ.
РИГА

(см. на обороте)

В НОМЕРЕ (окончание):

Строители мостов	127
К читателю	128

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Главный редактор.

Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ



GAVIĻU POĒMA¹

Посвящается Кришьянису Барону

[фрагменты]

Перевел Рюальд ДОБРОВЕНСКИЙ

Эти первые gaviļētāji были пастухи, и особенно те, что пасли овец; к ним несколько позже присоединялись и коровьи пастухи. Но gaviļēja и потом, — кажется, все лето напролет.

Кришьянис Барон

* * *

Цапля, гусь — в два часа
расстоянье покрыли б
и хватило б минут
металлическим крыльям.

Боль песками впитав,
смирным-смирная вроде,
у болот притулилась...
Ау, моя родина!

Собрались у костра,
пламя в лица им светит.
Греют руки, в огонь
глядя столько столетий.

Лишь бы новый удар
не достиг небосклона.
Песен много у них —
полтора миллиона.

Марис ЧАКЛАЙС — латышский поэт, прозаик, переводчик, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола республики, лауреат премии имени Андрея Упита — родился в 1940 г. в г. Салдусе. В 1964 г. окончил филологический факультет Латвийского государственного университета. Издал на латышском языке около 20 книг — стихов, эссе, сборников для детей. Среди книг в переводе на русский язык: «Пешеход и вечность» (1969), «День травы» (1973), «Зов лесного голубя» (1979), «Огонь в ручье» (1985), «Дерево посреди поля» (1987), «Ждущий знаков» (1988).

Стихи М. Чаклайса переводились на языки народов СССР и зарубежных стран. В переводе М. Чаклайса опубликованы произведения Гете, Рильке, Брехта, Энциенсбергера, Хлебникова, Цветаевой, Маяковского, литовских и армянских поэтов.

¹ «Поэма ликования» — так можно было бы перевести название, если следовать Указаниям словарей. Но они неполны. Латышское слово gaviļēt означает и ликование и — пенне, заливиное, самозабвенное. Gaviļētāji — пастухи, те самые народные певцы, что с весны до осени л и к о в а л и вместе с природой. Кстати, слово, стоящее в заголовке поэмы, употребляется и для соловьиного пения. (Прим. переводчика)

И поют у костра
столько долгих столетий.
В песне кони и яблони,
в песне розы и плети.

Ходит песня по краю,
ах, как неосторожна,
все-то помнит, все знает,
что нельзя — то ей можно.

Не угас праздник Лиго,
Так пугавший кого-то,
Все запреты стряхнувший
Праздник солнцеворота.

Не истрачено, живо
сбереженное в песне:
похороненный Юмис¹,
слово доброе: крестник.

Как у моря родного —
у черты небосклона,
глядя в пламя, волхвуют
полтора миллиона.

* * *

Эта нежность откуда,
юных трав шелковистость?

От болот, от лесов
и от туч, над лугами нависших.

Сестры-капли, откуда в вас синь?
Что за ярость,
что за крепкая воля
над вами — как парус?

Почему вы готовы,
в жизни моря не видевав,
все на свете отдать,
только б моря не выдать?

— Я — роса со ствола
нескончаемых бедствий.
— Я — с родимых болот.
— Я — от влаги небесной.

— Я — от чащ можжевеловых,
от лесной тишины.
— Я — с голодных пространств,
где лежат валуны.

... Запретов не слыша,
прямой ли, пологой
торопятся капли
кратчайшей дорогой.

¹ Юмис — персонаж народной латышской мифологии, возрождающийся через гибель; одно из его воплощений — колос-двойчатка.

— Я верила: то, что нас держит,
не вечно.

— Конечно, не вечно,
да жизнь быстротечна.

И капля, и семя
торят себе путь.
Распрямить бы плечи
да неба вдохнуть.

— Эй, семя, эй, капля,
как вас понимать,
куда сломя голову
мчитесь опять?

К какой еще тащит вас
новой крамоле?

— Хотим единенья
там, в небе, там, в море!

— Там, в море,
себя потеряете вмиг!
— Не в небе неволя,
она — в нас самих!

* * *

— В своей отчизне я рожден.
И лишь почувствовал: пора —
в дорогу вышел.
— Вышел, крра.

— Немалый путь прошел с утра.
— Изр-рядный путь, и пр-равда, кра.

— И солнечных лучей игра
сменила мглу.
— Кр-расиво, кра.

На дубе, на березе — ворон,
на иве — тоже ворон, вот он.
И ручка с золотым пером
всегда при вороне при том¹.

— Не каркай, черной стужей вея.
Злым предвещаньям не поверю!

— Покладистее стать пора.
Земля достанется покорным,
получишь холмик. И, как дерном,
тебя прикрою хриплым: кр-ра!

— Эй, ворон, каркая к беде,
как поспеваешь ты везде?
— Что, те, кто бдительность хранит,
так одинаковы на вид?

¹ Ироническое переосмысление народной песни, в которой ворон, правда, держит «в рученьке» золотые гусли — кокле.

Где ж наблюдательность твоя?
Знай: я — давно уже не я.
У воронов обычай есть:
мы подаем друг другу весть...

— Будь проклят! скверная игра...
— Ну, мы еще поладим, кр-ра.

* * *

В небе, в самой середке,
что дрожишь ты, сиротка?
Как взобрался на небо?
Хоть на взгляд и покато,
без боба не взберешься, —
боб не вырос пока что¹.

Корешки только-только
потянулись спросонок.
Спит земля предвесенне.

Но пастух, пастушонок...

Спит земля предвесенне,
разве корни очнулись...
Конь — в конюшне — другому:
— Эх, поскачем в ночное!..

Но пастух, но сиротка
смело начал, не робко.
Песня бьет не на жалость,
а на радость, на шалость.
Песня — как наковальня,
где куют ликование.

Тот, кто пьет в кабаке,
то горюет, то злится.
Пастушонок поет,
чтоб испеться, излиться.

На коленях природы
песню он сотворяет,
мать-природа окно
песне той отворяет.

Как береза в леске
переполнена соком,
песня плещется в нем
горячо и высоко.

Сколько льда накопилось,
сколько стерплено холода.
Ну, рассмейся, ручей,
лопни, семечко, с хохота!

Солнце-матерь сосут
молодые телятки.
Солнце рыжее прет
все вперед, без оглядки.

¹ Сирота, герой народной сказки, взбирается на небо по непомерно длинной бобовой (гороховой) плети.

Просыпайся, свирель,
в тальниках над рекою.
Север дом ледяной
так-то прочно построил.

Но не зря поется в песне:
стекла разбиваются,
двери, медные ворота
сами отпираются.

Пастушонок поет,
позабыв все на свете.
В небе лестница встает,
а держит ее ветер.

«Что он только не нес!» —
проклинали мы ветер.
А ведь он вроде нас:
то он темен, то светел.

* * *

Младший братик, браток,
как забрался, притек
между двух жерновов
в мукомольне?

Песня вдруг влетит
всему поперек,
точно в дом
шаровая молния —

в дымоход, сквозь стену,
через окно,
все одно —
не поймать
и не обесточить.
Берегись, человечек,
дружок,
беззащитный росточек.

Как кукушка окуковала...
Братец, что ты смотришь подранком?
Сытый мельничный кот урчит.
Зверь зари жадно лижет небо.

Временами мелькнет
судьбы
тонкий лучик...
мелькнет — и мимо.

Братец, чтой-то там вдали?
Что сороки растрещались?
Словно замурован слух,
тьма стоит перед очами...

Вдруг — как громом поражен —
шепчет младший братик: Тише!
Тише, сестры-мукомолки, —
полон двор чужих людей.

* * *

То ль разверзлись там трясины,
то ли пущи опустели?
Я кричал — в ответ молчали,
пел — но мне в ответ не пели.

Полдень, тишиною мертвой
страх на душу наводящий.
Хоть бы Мара¹ полусловом
мне отозвалась из чащи.

Где берестяные дудки,
звук рожка, родной и странный?
Лес, где люди беззащитны,
а олени под охраной.

Проржавели даже тени . . .
Чу! разнесся рев олений.
А за ним — и треск и гомон,
как пожар, волной горячей, —
улюлюканье, и крики,
и надсадный лай собачий.

Ближе, ближе . . . Кто охоту
к нам призвал? какую пищу
снова ищут в наших землях,
за какой добычей рыщут?

В душном воздухе столетья
блещут зубы, свищут плети.

Песня, с нами не расстанься
и спасись, народ спасаю.
Песня, не беги, останься,
далеко ль сбежишь, босая?

* * *

Капелька, сестрица верная,
радость вечная, мгновенная,

хватит, милая, тревожиться, —
песня выживет, продолжится.

Пой-играй на всю вселенную,
песнею развеселенную.

Что там двое — всей округою
подпевайте нам с подругою!

Песня в мире растворяется —
реки настезь отворяются.

Не щадя себя, растрчивать —
воздух пением раскачивать.

Внесены мы над печальями
как гигантскими качелями!

Лето-летушко, замру-очнись.
Лето, пой — и я опять зачну,

¹ Мара в народной мифологии — владычица смертей и рождений; в ее «ведении» и плодородие полей, и людские судьбы.

помогайте, кто там около?
Раскачаем мир, как колокол,
чтоб гудел его глубокий бас
дальше — сам собой, уже без нас.

* * *

На заре, в окне высоком
он стоит, белобородый...¹

Пятый год... Потом — окопы
первой мировой... Народа
боль... И он — в окне высоком,
да — стоит, белобородый...

Может, не в окне высоком.
Может, в погребке глубоком.
Может, не под градом стрел, —
с песней рос и с ней старел.

Может, он, седой такой,
с сохраненною строкой,
той, что примем мы на плечи,
чтоб нести — вперед, далече,
для которой смерти нет,
от которой светел свет.

Время — доброе и злое,
и такое и сякое.

И теряет слой за слоем.
И живет не иссякая.
И внутри нас — и вовне...
Он всегда в своем окне.

Неподвластный нашим срокам —
там, седой, в окне высоком.

Эй вы, дали золотые,
эй вы, воды синие...
Жаль, что нет трубы подзорной —
но очки-то сильные.

— От каких вы круч могучих?
— Наши кручи — это тучи.

Наши горы, наши кручи —
день грядущий неминуемый.

Там не к пропасти качнемся —
там мы только и начнемся!

Не сгибаясь перед роком,
принят в глуть родной природой,
на заре в окне высоком
он стоит, седобородый.

¹ Здесь цитируется и переосмысливается популярное в народе стихотворение Аусеклиса (1850—1879) «Беверинский певец». Герой стихотворения Вайделот под градом вражеских стрел запекает песню: «шит песни» отбивает «стрелы», «песня спасла народ». В поэме сквозь черты древнего певца проступает облик Отца дайн Кр. Барона, которому посвящена поэма.



КОРНИ ДИКОЙ ГРУШИ

Главы из романа¹

ОТ РЕДАКЦИИ

На востоке Европы — на западе нашей страны — есть немало мест одинаковой судьбы. В Латвии, в Литве, в Белоруссии, на Украине, в Молдавии. И глубже — в западной России. Когда-то здесь проходила позорным пунктиром черта оседлости, и евреи, принудительно селившиеся за этой чертой, как бы вступали в химическую реакцию с местным населением, испытывая его влияние на себе и влияя на него. Возникали новые, своеобразные общности — языковые, бытовые, нравственные. Местечки — так называли тогда эти концентрации еврейской бедноты, и хоть Бобруйск уже давно был город, был он таким же местечком, как Резекне или Лудза в Латвии, как Укмерге или Кедайняй в Литве. Только в Лудзе говорили на крутой смеси русского, еврейского и латышского, а в Бобруйске — на белорусско-еврейско-польском. Но какой бы язык ни звучал во дворах и на привозах, везде одинаков был гнет нищеты и страх погромов, и одну на всех гибель приносила война.

Ничего не осталось теперь от этих вынужденных очагов народного сожительства — пожар фашистского нашествия выжиг последние следы. Даже названий улиц не осталось. Разве что братские захоронения скажут нам, что творжилась в этих местах великая и мученическая жизнь, и живые люди с именами и фамилиями рождались, росли, трудились и любили здесь в радости и печали. Да еще писательское перо изредка заглянет в то страшное время и в те нищие местечки и вынесет в сегодняшний день улыбку и скорбь. Все реже и реже. Бабель, Рыбаков, Канович... У нас в Латвии — Коваль.

Что самое главное в прозе еврейского бытия, в русскоязычной еврейской прозе? Среди ее персонажей есть свои мудрецы и свои сумасшедшие, свои альтруисты и торгаши. Есть тут неповторимый колорит неубиваемых национальных обычаев и низость приспособления, есть простоватая прямота и тончайший грустный юмор. Все это есть, но не это главное. Суть в том, что каждый раз это — наука мужества жить. Жить, даже когда жизнь невозможна.

Это историческое жизнелюбие свойственно и прозе Леонида Ковалья. Сам он родился в Бобруйске, но многие годы живет в Латвии — последнее время — в Юрмале. 40 лет Леонид Коваль отдал журналистике, а если еще точнее — журналистскому поиску. И проза, к которой он закономерно пришел, тоже пропитана документальным поиском минувших событий и судеб.

¹ Журнальный вариант.

Герои его — не выдуманные люди — они жили в Бобруйске и писатель знал их. Все они ушли в ноябре 1941 года навсегда в Каменкинский ров и превратились в уголь — и бедный, и богатый, и острословы, и ворчунны. В одиннадцати километрах от Бобруйска, в Каменке, на месте, где был расстрел, стоят теперь у обелиска урны, наполненные черным углем...

У каждого — свой пепел, своя память. И память писателя заговорила голосами тех, кого он знает, любит и помнит живыми.

ЭЙ, ИЗВОЗЧИК!..

Памяти Маши Рабкиной

Вот постель его.
Постель железная.

Второзаконие

I

«К т. продкому Лиакумовичу
3.3.1919,

Просимъ отделъ снабжения разрешить нам ехать в Свисловици и купить пять пудов жита и намолотъ для союза извозчиков на 5 человек и сена сто пятьдесят пудовъ па 14 р. 50 к. на 5 голов коней.

Просит Фроим Кац с Инвалидной улицы».

Бумага напоминает перезимовавший дубовый лист. Я стою с ней посреди города и, как молитву, как заклинание, твержу три слова: «Просит Фроим Кац», «Просит Фроим Кац», «Просит Фроим Кац».

Что ты просишь, Фроим? Что ты просишь? Ты не любил просить, Фроим. Тебе всегда было больно. Конечно, так больно, как сейчас, тебе еще не было. Тебя расстреляли в Каменке, а потом облили мазутом и сожгли. И ты стал куском угля. Старый еврейский извозчик стал черным куском угля. И все равно, если можешь, Фроим, спи спокойно, если вообще может спать человек, ставший куском черного угля. Человеку должна стать пухом его родная земля... И все-таки, Фроим, постарайся уснуть. Смерть — это и отдых, вечный отдых, а ты разве не заслужил его? Смерть и покой — слишком дорогая награда, и дается она не каждому. Ты заслужил покой, Фроим. Так что — спи, спи, ты не должен обижаться на себя, и на тебя никто не в обиде. Так скажет каждый, кто знал тебя. А кто тебя не знал? Тебя все знали.

И я помню тебя! Помню, как свое детство. А оно видит то, что видит, и видит оно только светлое, потому что у детства много слепящего света, а когда много-много света, он слепит.

Здесь и далее подлинные документы из Бобруйского городского архива (с сохранением орфографии того времени). — Прим. автора.

Мое детство напоминает мне твою лакированную карету с обитыми медью светильниками, твой добрый, весь в трещинах, как кора у нашей дикой груши, фаэтон. В него можно было забраться, потрогать руками бархатные бубенчики, теплые квадраты кожи с пуговицами посредине, посидеть на мягком, как бабушкины колени, сиденье. Можно было вскочить на козлы, натянуть вожжи и полететь над улицей, над всей землей, и вечная жизнь вполне заменяла в карете детства лошадей.

Бывало, влетали в твой фаэтон голубь с голубкой — влюбленные гимназист и гимназистка, и ты поднимал над ними складную крышу и возил их сюда и туда и обратно, не требуя платы — пусть себе целуются, пусть нацелуются досыта. Какой ты был наивный, Фроим, — разве могут досыта нацеловаться влюбленные, даже за твоей теплой спиной?

Я помню, Фроим, твой низенький слепой домишко, он стоял через один дом от нашего, и из его черной трубы над дырявою гонтовой крышей почти круглый год валил дым.

«Мои мальчики мерзли даже летом. Мои бедные мальчики».
— Твоя Мера родила их...

«Да, да, когда уже ушли все поляки».

— И у тебя стало сразу восемь детей, Фроим.

«Мере было тяжело. Спасибо нашим соседям, Некричам, они помогали ей».

— Ты имеешь в виду Пинхуса и Энтл? У них были свои дети...

«Они все любили моих мальчиков... Бог забрал у них ножи...»

— Вся улица, Фроим, жалела твоих мальчиков.

«Я не сердчаю на улицу. Пускай она будет здорова. Когда кругом одна война, рождаются к-калеки. Снаряд прилетел прямо в мой огород, когда Мера была на седьмом месяце... К-как она мог-г-ла родить здоровых мальчик-ков...»

— Ты все еще заикаешься, Фроим? Неужели и могила не исправляет человеческую речь? Ну чего ты молчишь, Фроим? Тебе противно вспоминать ту историю с «коброй»? Тебе стыдно? Тебе не должно быть стыдно, Фроим.

Извозчик рождается в день великого терпения. Люди садятся на минуточку, но за эту минуточку они не только успевают показать себя со всех сторон и даже изнутри, но еще дают понять извозчику, что не он, а они, эти самонадеянные грубияны, хозяева фаэтона и лошади и из одной только жалости терпят извозчика на козлах.

— Ты — для — меня — Фроим — што — твае козлы — не чалавек — пани-маешь — не чалавек, а жид, — откровенничал жирный словно боров приказчик из москательной лавки, которого Фроим подобрал в канаве у самой Титовки.

Фроим глотал пьяные слова, как тухлые яйца.

«Пусть говорит, пусть жует свою жвачку приказчик, не он первый, не он последний». — И извозчик, вздыхая, поднял крышу фаэтона, когда у моста через Березину их настиг холод-

ный дождь. Пассажиру, конечно, стало уютнее, и он затыкнул песню, которую сердце Фроима вдруг стало сопровождать барабанными ударами:

— Бей жидов — спасай Рас-сею! Бей — жидов — спасай Рас-сею!

Удары барабана отдавались в ушах Фроима. Но не мог же он закрыть рот пассажиру, если кругом полная свобода слова.

«А может быть, — подумал извозчик, — приказчик не знает мокром состоянии может их спеть. Наверное, он впитал их с молоком матери, эти слова и песни. Но ведь и мать должна была их откуда-то хорошо знать», — рассуждал Фроим, и мысль эта уводила его назад, в черные пещеры памяти, и он искал и не находил ответа на проклятый вопрос: почему? Почему надо бить жидов, чтобы спасти Россию?

II

Этот певун-приказчик снова напомнил Кацу историю с «кобровой» — историю из той породы, что прилипает к человеку, как смола. У Фроима Каца смола проникла внутрь, растеклась по душе, будто блин по сковороде, блин с черными обгоревшими краями. Им можно отравиться, как полынью...

Сначала, когда круглый господин в пенсне свистнул Кацу на углу Муравьевской и Шоссейной, Фроим хотел проехать мимо — он не любил, когда ему свистели, как собаке. Кому это приятно, если тебе свистят, как собаке. Кац повернул голову на свист, и в лицо ему ударил холодный блеск змеиных глаз. Каждый человек похож на какого-нибудь зверя или птицу, а глаза — это уже весь человек. Можете посмотреть на себя в зеркало. Это лицо может соврать. Зеркало никогда не врет.

Наверное, Фроим и проехал бы мимо, но ему перекрыла дорогу пожарная параконка, которая, вся в цацках, прошлепала со стороны депо. Фроим придержал вожжи, и круглый господин в пенсне, всем своим обликом напоминавший очковую змею, не дожидаясь приглашения, забрался, как к себе в постель, в фазтон и приказал ехать в Офицерское собрание. Хочешь не хочешь, а ехать надо! Не высаживать же человека, и извозчик повернул лошадку в сторону зеленого базара. Погрузившись выше колен в лужу, она привычно обходила опасные ямы. Бобруйская лошадь чувствовала себя в луже, как рыба в воде.

У самого базара Фроима остановил сладкий голос Энтл по прозвищу Канарейке.

— Куда ты спешаешься, бандит? Или ты хочешь оставить без мамы моих сирот, паразит? — в рифму заорала она. — Чтоб ты помер, и я тебя больше не видала, или, еще лучше, чтоб ты ослеп и ты меня больше не увидел, урод!

Если бы Кац знал, что такое ехидна, он бы сейчас обязательно вспомнил о ней. Но Фроим не знал, что ехидна — это наполовину женщина, наполовину змея, он только знал, что Канарейке имеет язык, который в любой момент может плеснуть ядом. Наверное, сейчас был как раз такой момент, и извозчик не стал связываться с Энтл — за свою жизнь он больше разговаривал с лошастью, чем с людьми, и даже толком не знал, как с ними разговаривать, особенно когда они кипятились сами, а свой кипяток выплескивали ему на голову. О том, что творилось в такие моменты в сердце Фроима, могла знать только его лошадь. От нее у извозчика не было тайн. Круглый господин в пенсне всю дорогу молчал, глаза его были закрыты, но Фроим спиной угадывал, что клиент не спит, даже, наоборот, как бы что-то обдумывает. Пусть обдумывает, это его дело, но пусть побыстрее убирается. С той минуты, когда непрошенный пассажир развалился на сиденье, Кацу не давали покоя эти противные подземные толчки в сердце, и он снова вспомнил разговор давнего клиента, носившего шляпу и черное пальто:

— Что такое землетрясение? — спрашивал пассажир и сам отвечал: — Вы можете себе представить, что происходит с землей, когда внутри у нее лопается сердце? Не можете? А зря!

Фроим не мог себе представить, что происходит с сердцем земли, но зато его собственному сердцу эти жаркие толчки приносили мало радости. Вот и теперь болело внутри, ныло его исколотое сердце, и он не знал, как вынуть из него эти острые иглки.

Когда Фроим наконец подъехал к Офицерскому собранию, круглый господин, не открывая глаз, попросил:

— Помоги, братец, дойти до зала. Будь добр!

— Эта не мая дела, — не оборачиваясь, огрызнулся извозчик.

— Я тебе вдвойне заплачу, братец, сердце шалить у меня стало. Боюсь упаду.

Что оставалось Фроиму делать? Ему ничего не оставалось делать, как цыкнуть на свое сердце и потащить на себе этого господина, тяжелого, как дубовое бревно. И вот, когда он внес его в освещенную залу, «бревно» неожиданно вскочило на ноги и, как ни в чем не бывало, провозгласило:

— Господа, я привел к вам своего старого друга, актера, который согласился загримироваться под жидовского извозчика, чтобы повеселить почтенное собрание. Ну, скажи, как тебя зовут, дружище?

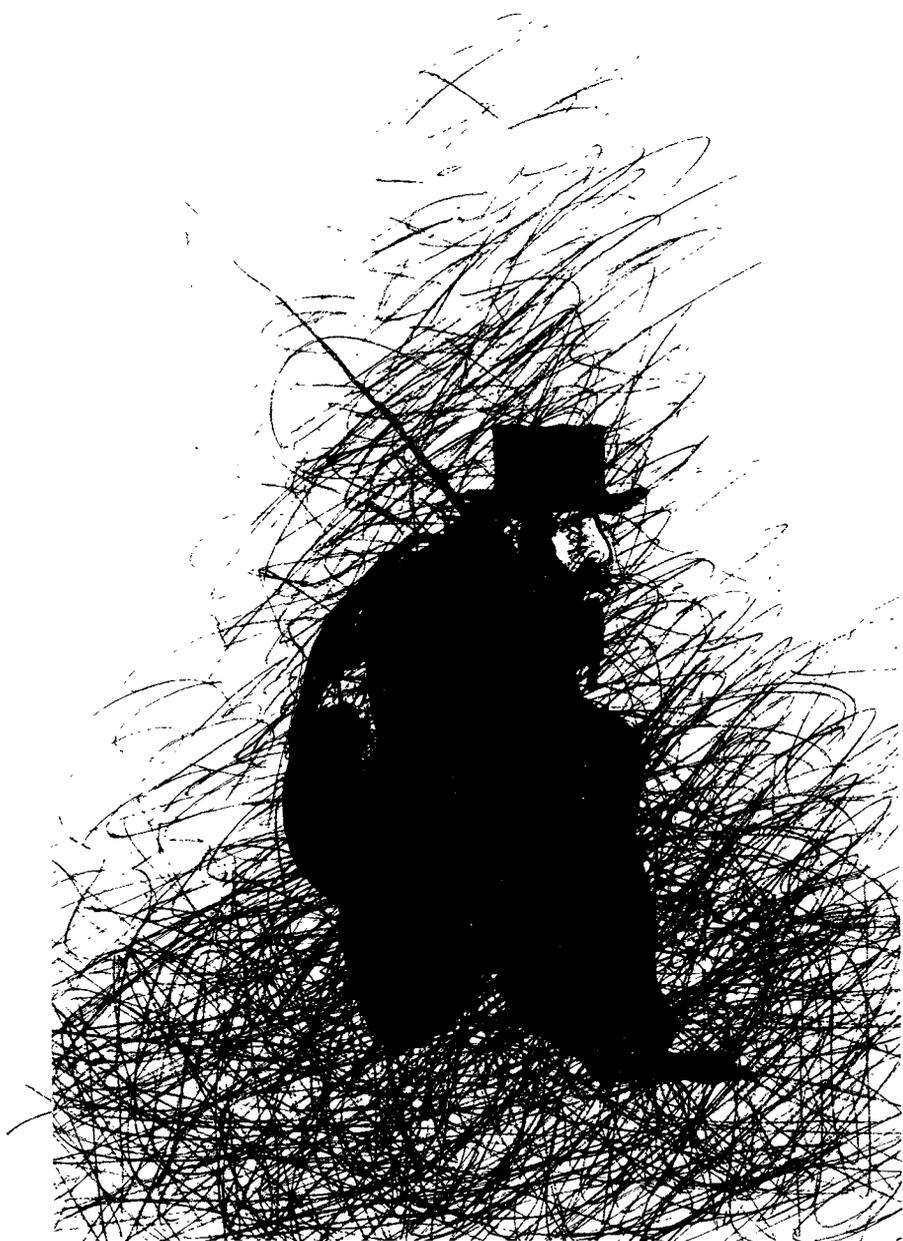
— Фроим Кац, — вдруг вырвалось у несчастного извозчика, напрочь потерявшего способность соображать.

И что вы думаете было дальше? Ничего особенного не было. Зал содрогнулся от смеха. Это был обвал в горах. Это был камнепад. Смех вообще очень полезен, и господа офицеры хватились за животы, сгибались в три погибели, давясь, задыхаясь от хохота, облизываясь, как дети, наевшиеся крема.

А Фроим Кац, забыв про свои горячие толчки в сердце, на

ЛХ

Рисунок Эгонса Штейнбокса



несколько дней вообще потерял дар речи. Когда он к нему вернулся, выяснилось, что извозчик стал заикой. Мало того, что он жил бобылем, так ему еще надо заикаться. Кому густо, а кому пусто! Что поделаешь с этой странной жизнью, с ее милыми детскими шалостями? . .

III

Все это было незадолго до революции, и когда настал ее час, Фроим Кац, конечно, не очень сокрушался о старом режиме. Наоборот, хотя он всегда остерегался шумных компаний, вступил в профсоюз извозчиков, которым командовал большевик Хаим Гельфанд. Кроме Фроима Каца и его лошадки в профсоюз вступили еще 189 извозчиков и 190 лошадей, потому что у Гиршеле Фарштандикера была параконка, и он, конечно же, смотрел на фроимовский экипаж, как дог на дворянгу. Ладно, пусть себе гоцкает со своим спальным вагоном, посмотрим, что Гиршеле запоет, когда его рысаки сожрут припрятанное сено. Одна кляча или два рысак — это все равно что одна жена или две потаскухи. Всю кровь из тебя выпьют, как пиявки, которые ставил доктор Морзон.

Ну, а что же революция? Худо было революции, даже очень худо. Бобруйские улицы напоминали Кишинев после хорошего погрома. Сначала генерал Довбор-Мусницкий привел свой корпус и приказал ничего не жалеть, чтобы от революции ничего не осталось. И корпус ничего не жалел. Конечно, как это уже было принято не только в Бобруйске и не только в 1918 году, начали пришельцы с еврейского погрома. Жолнежи под руководством воспитанных офицеров не стали изобретать какие-то новые пути и методы спасения цивилизации, которую они, несомненно, представляли. Евреев вешали, стреляли, их жен и дочерей насиловали, их жилища жгли, словно именно этой крови, этих слез, этого пепла как раз недоставало для оправдания великой миссии освободителей. Распалась, не насытившись, завоеватели, естественно, перекинулись на белорусские хаты и их обитателей и залили кровью пепел, оставшийся от деревень Большие и Малые Бортники. И тогда выяснилось, что пепел везде одинаковый, как и кровь. И тот, кто обагрил ею свои руки, не может вообще рассчитывать на победу.

На смену шляхтичам в истерзанный город пришли немцы, или германцы, как их тогда называли, и уважающие дисциплину баварцы, конечно, постарались переплюнуть экспансивных варшавян и учинили в городе свой маленький погромчик, не в смысле, что били только евреев, а в смысле, что били и евреев, и всех, кто считал, что место германцев в Германии.

У Фроима Каца, поскольку он жил бобылем, остановился на постой немецкий унтер из обоза. Это был жердеобразный, с белым лицом сорокалетний мужчина, не расстававшийся с губной гармошкой. Днем он развозил продукты, а по ночам зани-

мался любовью с женщинами, которых привозил с собой. Что он с ними выделывал! Фроим не мог не только видеть, но даже слышать их стоны и пiski, а когда унтер подавал команду «Форверст!», Каца трясло, как при лихоманке. Надо быть круглым идиотом, чтобы во время любви отдавать военные команды. Насытившись, немец пил с женщинами шнапс — все у него наоборот! — и пел на своей гармошке песни, длинные и холодные, как зима. Фроиму он говорил:

— Война есть шайзе¹. А женщина ест покой, сладкий. Я беру женщина и забываль война...

В конце концов, не выдержав любовных страстей постояльца, Фроим перебрался в сарай к своей лошади и спал рядом с ней, не снимая кожушка. Однажды ночью немец разбудил Фроима и стал звать его в дом. Он был здорово навеселе, и глаза его слезились.

— Пошелъ дома шнапс пьет, юден. Я фрау унд медхен гнал прочь. Мы пьем сам как мужчина.

Фроим поднялся с теплого сена и потопал в дом в обнимку с немцем и чокнулся с ним медной кружкой с двумя ручками, из которой он обычно пил воду. Унтер пьянел на глазах и лез к Фроиму целоваться. Когда немца окончательно развезло, он вдруг разоткровенничался.

— Юден кароший, майне фрау тоже есть юдит. Тссс. — Он приложил к губам непослушный указательный палец, продолжая: — Дома ест сын Курт, айн яр, кароший мальчик, кароший, кароший. — И, с трудом достав из нагрудного кармана своего френча фотографии, стал совать их Фроиму. — Майне фрау Мария — юдит Мариам, майн зон Курт, Курт Кохер... Кароший малшик... Я ест Вилли Кохер...

Фроим разглядывал фотографии и сочувствовал, и завидовал немцу. Будь у него, Фроима, жена и сын, он ни за что не бросил бы их, чтобы податься неизвестно зачем на другой конец света, в чужую Германию. Между тем Кохер, бормоча себе под нос какую-то песенку, растянулся на топчане и мгновенно захрапел. Фроим снял с себя кожушок и укрыл им постояльца.

Фроим долго не мог уснуть, хотя тоже порядком назюзюкался. Семейные фотографии немца подсыпали свежей соли на старые фроимовские раны. Они почти ровесники с немцем. А он, Фроим Кац, все еще живет один, и, кроме как к лошадиной морде, прижаться ему не к кому. «Зелдочка, Зелдочка, звездочка моя, — подумалось Кацу, — как мне забыть тебя, золотце, как забыть?..»

И приснился Фроиму золотой лес. Все в нем было золотое — деревья, листья, трава. Играла музыка, и листья кружились, звеня, и солнце отражалось в них, теплое и яркое. Из-за дерева вышла его Зелдочка, вся в золоте, а за нею появились дети,

¹ Дерьмо (нем.)

тоже золотые, они бегали, сверкая золотом, и в лесу стало светло, невыносимо светло, как будто в нем поселилось много-много солнц.

IV

Теперь давайте, на всякий случай, узнаем, кто такой продком Лиакумович, который вдруг понадобился извозчику, и чем этот Лиакумович дышал в те похожие на светопреставление дни. Оказывается, комиссар продовольствия Бобруйского революционного комитета дышал спертым воздухом своей комнатухи, которого ему едва хватало на то, чтобы подписать за день тысячу просьб и решить десять тысяч дел. Лиакумович кормил людей из кормушки, в которой съестного было еще меньше, чем на бедной еврейской свадьбе, куда любят съезжаться бедные — близкие и дальние — родственники, и которых, слава богу, тем больше, чем меньше на них рассчитывают. Он неплохо устроился, этот продком! И при этом неплохо выглядел. Плотный, с хорошо развитой лысиной, напоминавшей пожелтевший фаянс, но зато с пышными усами, карими, чуть навывкате глазами и овальным подбородком, будь он в ермолке, то мог бы сойти за синагогального кантора. Но на Лиакумовиче был китель, а поверх него черная кожанка, и это меняло дело. Телефон трезвонил, как тысяча извозчиков, от людского изобилия можно было и так стать нервным, а тут еще в кабинет продкома боком протиснулся Фроим Кац и положил на стол свою паперку. Лиакумович поднял на посетителя свои овальные, как женский медальон, глаза и увидел невысокого сухого человека с жидкой рыжеватой бородкой и, что мог заметить даже слепой, беспомощными, как у малого дитя, синими маленькими глазками. Небольшой мягкий нос и чуть розоватые бугорки щек еще более делали его похожим на большого ребенка, ради смеха набросившего на себя черный извозчиный кафтан, перехваченный красным кушаком.

Лиакумович прочитал паперку и сказал:

— Ты рискуешь, Фроим. Всюду стреляют «зеленые» бандиты, и легче выпросить хлеб у бога, чем у свисловичского крестьянина. Что ты мне на это ответишь?

— Мне нада, — тихо ответил Кац.

— Тебе нада, а мне не нада, — в тон ответил Лиакумович, — мне не надо, чтобы враги революции убивали наших извозчиков.

— Мне нада, — тихо повторил Фроим.

— Зачем именно тебе это надо, а, Фроим? — спросил продком.

— Эта мая дела, — как всегда, когда упрямылся, отвечал Кац.

Лиакумович еще раз поднял свои эмалевые глаза и еще раз заглянул в маленькие исусины озерки просителя, и то, что он

в них увидел, заставило его взяться за перо и написать такую бумагу:

«Удостоверение. 18 марта 1919 года.

Уездпродком сим уполномочивает представителя уездной закупочной комиссии от Союза легковых извозчиков тов. Каца Фроима на закупку пяти пудов жита и 150 пудов сена в Свислочической волости и привоз их в г. Бобруйск для нужд Союза извозработников. Продотделу волости предлагается оказать содействие к приобретению означенного сена и жита по предельным ценам.

Неоказание содействия будет строжайше наказано, ибо упомянутый союз крайне нуждается в сене и хлебе, и члены этого Союза, в большинстве случаев, беднейший элемент пролетариата. Комиссар прод. Лиакумович».

Продком протянул бумагу Фроиму и сказал строго:

— Фроим, передай Хаиму Гельфанду, что я тебе разрешил.

— Х-Хаим Г-Гельфанд мне м-мама и п-папа, — сказал Фроим Кац и пошел к дверям, и даже со спины было видно, как плескаются в озерах его глаз веселые рыбки, которые заплыли в них из глубин счастливой фроимовской души. Счастливой? Что-то не вяжется этот голубой пейзаж с привязавшимся к Кацу черным чертом, тем, что однажды без спроса сел к нему в фаэтон — настоящий живой черт с рогами, хвостом, весь обросший шерстью.

— Тебе к-куда? — спросил тогда извозчик.

— Мне ник-куда, — ответил черт, передразнивая Фроима.

— Т-так не баловайся, пок-ка я тебе не отвесил к-кнута.

— А ты попробуй! — улыбнулся черт довольно нагло.

И Фроим попробовал. Но черт только засмеялся.

— Не старайся, Фроим, мне нравится сидеть за твоей тощей спиной. Ты когда-нибудь видел, чтобы черт сидел за жирной спиной? Чтобы тебе всегда везло, я буду тебе перебегать дорогу. Ты согласен, Фроим? — И черт показал, как он будет это делать — ловко выскочил из фаэтона, прошмыгнул у лошадки перед носом и снова уселся на место.

Сколько ни старался Кац разогнать свою кобылу и задавить черта, перебегавшего дорогу, это извозчику не удавалось. И вдруг однажды черт на минуточку зазевался...

V

Чтобы узнать, где, когда и как это было, мы вернемся на один день назад и посмотрим, что же такое произошло на глазах у Фроима, раз он явился к Лиакумовичу весь в голубых брызгах.

Фроим отвозил какого-то веселого клиента к самой границе города, к мосту через Березину. У моста стояла охрана и — больше ей делать было нечего? — проверяла всех, кто въезжал или выезжал из Бобруйска. Место здесь было вольное и, как

небо, бескрайнее. Широкий луг за рекой белел под весенним солнцем, жадно накинувшимся на снег, и он кое-где уже уронил первые весенние слезы, они сливались в робкие, невидимые глазу ручейки где-то под белым одеялом, словно боялись так ни с того ни с сего взять и появиться перед солнцем, которое могло их по весенней горячности запросто иссушить. Справа от шлагбаума стояла дощатая будка, слева — в окружении купы деревьев росла вся в черных подтеках осина. Ее крона уже высохла, а нижние ветки касались верхушек кустов, и при ветре они терлись друг о друга и издавали сухой скрип.

Фроим Кац высадил клиента, успел на лету схватить кинутую монету, и тут извозчик услышал женский плач. Ни один мужчина, если он мужчина, а не притворяется им, женского плача вынести не может. Фроиму же этот плачущий голос показался знакомым — так плакала его мать Гише-Рейзл, когда хоронила отца Фроима, извозчика Лейбеле Каца. Кажется, уже не один десяток лет пролетел с того кладбищенского дня, и мамы уже давно нет на свете — так откуда мог нести материнский плач здесь, на берегу Березины в этот холодный весенний день? Фроим повернулся в сторону шлагбаума, и тут он увидел немолодую высокую и толстую женщину, всю в черном, плакавшую навзрыд. И этот плач схватил Фроима за самое сердце, вошел в него, как порыв иссушающего ветра — хамсина, дующего в знойной пустыне Неgev, в которой Кац не был уже тысячу лет. Фроим чувствовал, что ему не хватает воздуха. Извозчик метался на козлах, словно они были сделаны из раскаленного железа.

«Потоки вод изливают око мое о гибели дщери народа моего» — эти слова из плача Иеремии отбросили Фроима в те далекие годы, когда он учил в хедере Тору и набожный меламед реб Ицхок, сморкаясь в платок, читал нараспев слова молитвы.

— Дети мои, дети мои, — наставлял учитель, — если кто-нибудь из вас посмеет довести до слез женщину — мать или жену, сестру или соседку, всевышний отвратит от него свое сердце, ибо нет прощения тому, кто мучает дающую жизнь, носящую в чреве своем каждого, кто по воле божьей должен увидеть белый свет. Ударить женщину — такой же грех, как поднять руку, не дай бог, на отца или мать, что всегда означало в народе нашем быть приговоренным к смерти.

Мало ли еврейских женщин плакало на бобруйских улицах! Иногда Фроим сажал одну, другую из них в свой фаэтон и молча катал их, как детей, по улицам, и всякий раз плач за его спиной стихал, сходил на вздох, сворачивался, засыпая мягким котенком на сиденье. Теперь у моста через Березину Фроим снова услышал плачущий женский голос. Женщина рвала на себе волосы и хватала за руки бугая-постового, сбрасывающего с деревянной тачки какие-то свертки, завернутые в мешковину. Фроим успел подсчитать — свертков было три, и, ударяя шты-

ком по каждому из них, постовой с наслаждением — так показало Фроиму — кричал по-русски:

— Не па-ло-же-на! Не па-ло-же-на! Кан-фис-ка-це!

— Чтоб тебе язык отсох, бандит! — кричала женщина по-еврейски. — Нет, аферист, тебя родила не мать! Отдай назад! Отдай! Ой, моя бедная лавочка, ой, мои бедные детки! — и рвала к себе свертки, а постовой, в синих галифе и старом кожухе, отгонял ее штыком:

— Кан-фис-ка-це! Кан-фис-ка-це!

И Фроим Кац больше не выдержал. Он оставил свою лошадь, птицей рванулся к синим галифе и ловко схватил их хозяина сзади двойным нельсоном так, что тот только ойкнул и распластал руки, как подстреленная птица крылья. Но в тот же миг Фроима скрутили другие руки, куда более железные, чем его собственные. Лязгнул затвор, и Фроим увидел штык винтовки у самого подбородка.

— Стой, ни с своего места, контра! Шолом, перепусти его на голову, а я стреножу егонные ноги. Где наша веревка? — Владелец винтовки стал кончиком штыка щекотать фроимовскую шею, и хотя Фроим не переносил щекотки, он не отпускал постового.

— Велвл, — миролюбиво сказала «распластанная птица». — Не кидайся, как собака, и отними от горла человека свой ножик. Если ты слепой, так я тебе одолжу свой глаз, и ты увидишь Фроима.

— Фроим, поим, гойим, что мне за разница — контра есть контра! — крикнул Велвл. — Разжимай руки наверх!

Фроим разжал свои руки. Шолом отряхнулся, как курица, с которой слез петух, и спросил:

— Зачем ты меня, Фроим, без вызова берешь на борьбу? Вали домой и скажи мне спасибо, а то бы ты даром заработал от моего старшего брата пулю.

— Шарлатаны! — впервые в жизни выругался Фроим, узнав в милиционерах братьев Пружининых. Он молча подошел к плачущей женщине, взял ее за руку и, как королеву, усадил в свой фазтон.

— Чтоб они подавились, бандиты! — не унималась женщина. — А куда ты меня повезешь, или ты из другой шайки?

— Куда нада, — тихо сказал Фроим и посмотрел в черные как ночь глаза женщины и испытал озноб, как при горячем ветре пустыни. Женщина тоже нечаянно столкнулась с синими глазами Каца и вопросительно умолкла — такие уж глаза достались Фроиму: на них мало кто обращал внимание, но тем хуже было для того, кто обратил.

— Куда ты меня везешь, когда меня совсем ограбили эти бандиты, — тихо сказала она.

— Не плачь. — Фроим стеганул свою кобылку, и она так непривычно весело зацокала по булыжнику, что даже искры вырывались из-под ее копыт. Фроиму оставалось только направлять

этот звучный бег, напоминавший старую забытую мелодию, что пела ему в детстве мать:

Я с милым, я с любимым,
А между нами мать,
Меня она не хочет
За Лейбеле отдать . . .
Затевать любовь, любовь —
Это злое дело.
Только душу высушит
И девичье тело.

Под цокот этой старинной песни и привез Фроим свою спутницу к дому защитника Канторовича. Кац в те дни часто возил к нему разных людей, которым стали нужны всякие бумажки, отчего Фроим сделал для себя вывод, что без бумажки можно иметь сейчас дело только с женой, но жены у него как раз и не было.

Защитник Канторович выслушал несчастную женщину и быстро, хорошим русским слогом написал бумагу, которую еврейски подписала ограбленная Мера Киммельман.

«Комиссару продовольствия Бобруйского уездного ревкома Лиакумовичу от гр. Киммельман, проживающей по Глуской, 86,
Заявление

Сегодня у меня при въезде в город на мосту отобрали 1 пуд сахара и два пуда масла и два пуда ржаной муки. Эти продукты я привезла для своей молочной лавочки. Лавочка составляет единственное средство к существованию меня, вдовы, и моих детей. Мужа моего убили в прошлом году, и я теперь единственная кормилица моей семьи из 7 душ. Это продукты, приобретенные в долг, и если это будет отобрано, тогда я и мои дети обречены на голодную смерть. Поэтому убедительно прошу вернуть мне продукты, так как это не может быть ни в коем случае названо спекуляцией, а является товаром моей бедной лавочки.

Прошу не отказать в моей просьбе, так как я очень бедная и большая женщина. Просительница М. Киммельман. 17.III.19».

И это была вторая бумага, которую Фроим положил перед продкомом Лиакумовичем. И тот — семь бед один ответ — наискозь наложил резолюцию: «Расследовать, кто реквизировал, запросить ЧК».

VI

Кажется, просительница М. Киммельман может быть довольна, но Фроим Кац не стал ждать милости от ЧК.

Извозчик про себя рассуждал так: «В городе я могу снять ночью тарелочку с неба, даже если мне придется построить лестницу выше Мейрона. Но даже если тарелочка будет у меня

в руках, то мне не удастся положить в нее хоть что-нибудь, что спасет от голода шестерых детей Меры Киммельман». И Фроим Кац подался в эту опасную дорогу в Свисловичи, чтобы убить сразу двух зайцев, если, конечно, не убьют его самого. Один заяц — это попытаться достать немного сена для лошадей профсоюза и немного зерна для людей из профсоюза. А своей долей он может распоряжаться сам и как ему вздумается. Это был второй заяц, которого хотел убить Фроим.

Дорога из Бобруйска в Свисловичи шла лесом. Выдолбленная колесами, она то кривилась, то кособочилась, ныряла в раскисшие снежные наледы, и бедная лошадь хрипела, как пьяный балагола, пока выбиралась на сухие места. Фроим хотел обмануть «зеленых» бандитов и уехал из дома на ночь глядя. И он-таки их обманул, потому что на третий день уже возвращался домой хорошо нагруженный обоими зайцами.

И уже, казалось, вот-вот Мерины дети могут пустить в ход свои голодные зубки, когда дорогу Фроиму преградили два бандита и спросили:

— Что такое пан жид везет? Если не секрет, конечно?

— Эта мая дела, — сказал Фроим, отворачиваясь, потому что не терпел, когда несет самогоном.

— А эта чья дела? — переспросил один из них и огрел извозчика прикладом так, что тот слетел с воза прямо в грязь. Фроим такого не ожидал. Но когда он попытался подняться, второй бандит дал ему носком сапога в живот. И Фроиму показалось, что он сейчас уснет навеки. Бандитам тоже так показалось, потому что один из них сказал второму:

— Пока жид даходзить, схади, Пашка, да наших, пусть придуть, будем дзялить жидовский хабар.

На что Пашка ответил:

— Кабыла, Сашка, за мной. И не хнычь!

Пашка ушел в лес, Сашка влез на воз и свесил ноги. Лучше было бы для него, если бы он их не свешивал. Потому что Фроим хоть и спал, но во сне слышал, про что говорят Сашка и Пашка. И еще видел он глаза Меры Киммельман, она нагнулась над ним и тихо сказала: «Фроим, ты простудишься, вставай, я тебе помогу!» И Фроим встал. К счастью — с той стороны, где свисали с воза ноги Сашки. И он ухватился обоими руками за одну ногу и так ее потянул в свою сторону, что ее хозяин оказался головой вниз на твердой черно-белой земле. И тогда Фроим стал приводить эту голову в хорошее чувство своими маленькими, но крепкими жилистыми руками. А когда пьяный Сашка затих, ночная мгла расступилась, и лошадка, почуяв вожжи, понеслась, как летучая мышь, в сторону Бобруйска. Издалека слышал Фроим, как расплывается по темному лесу эхо выстрелов. Так что, слава богу, Фроим Кац вернулся цел и почти невредим и, не сказав никому ни слова, поехал на мельницу, смолот свои восемь килограммов ржи и отвез их на Глускую, 86.

А еще через пару дней Мера Киммельман и шестеро ее детей переехали в дырявый дом Фроима Каца.

VII

Целая драма получится, если рассказать о том, как Мера Киммельман стала обживать одинокий дом Фроима Каца. Драма выходит совсем не потому, что эта огромная женщина привела с собой целый выводок своих детей — какого мужчину остановят дети женщины, тронувшей его душу? Если ты любишь нищего, то влюбляешься в его суму. Драма была в том, что и Мера и Фроим уже испытали в своей жизни чувство и знали, какой у него вкус. А сердце, которое любило, способно не менять вкусов, и в этом вся сладость его драмы. Мера Киммельман год назад похоронила своего мужа, который умер не своей смертью. Его убили «зеленые» на той самой дороге, на которой удалось спастись Фроиму Кацу. За что они убили Хацкеля Киммельмана, эти «зеленые» бандиты? Он им мешал тем, что содержал маленькую бедную лавочку и крутился, как угорь в сетях, чтобы прокормить такую ораву? Так нет, взяли и всадили пулю в лоб Хацкелю Киммельману и оставили сиротами шестеро его детей. Мера Киммельман в свои сорок лет осталась вдовой с нерастраченною любовью к своему Хацкелю, который любил ее, как Адам Еву. Спросите, сколько у женщины детей, и вы узнаете, как ее любит муж. Но не убивают же человека за то, что он любит свою жену и ему приятно делать с ней детей. Так за что они его убили, эти «зеленые» бандиты? Нет ответа у Меры, как нет и не будет у нее больше счастья без Хацкеля.

Так что со стороны Меры Киммельман переезд к Фроиму Кацу был просто-таки солью на раны. Но если бы мы никогда не посыпали раны солью, то как бы мы узнали, больно ли от этого удовольствия?

У Фроима Каца тоже кровоточила рана. Давно кровоточила. Вот уже почти двадцать лет. Половину фроимовской жизни. С того момента, когда в фазтон Каца села мать с дочкой и мать попросила отвезти их на старое еврейское кладбище, где покоился ее незабвенный муж. Едва только они сели, Фроим почувствовал себя, как муха, попавшая в паучью западню. Лошадка тронула с места, а девушка спросила извозчика:

— Скажите, молодой человек, у вас тоже имеются смайсеры?

Фроим даже удивился этому вопросу и повернулся на козлах лицом к пассажиркам, чего в жизни никогда не делал. Он мог бы и не нарушать это золотое правило. Потому что, когда он повернулся, на блузочке у девушки ни с того, ни с сего расстегнулась пуговка, и как раз набежал ветер, и Фроим ослеп, казалось, на всю жизнь. Ничего удивительного. Раньше или позже это случается — двадцатилетний девственник вдруг сталкивается нос к носу с девушкой, а у нее на груди расстегивается пуговка. Конечно, в свои годы Фроим мог бы уже знать, с чем это едят.

Он мог бы, как все порядочные люди, завернуть в публичный дом Исаака, который ждал гостей в конце Инвалидной, и сам хозяин — при усиках и лакированных сапогах — с распростертыми объятиями встречал каждого клиента, или, наконец, мог бы заглянуть в заведение Ханке-ды-геле¹, и все его муки исчезли бы, как птицы при первых заморозках. Что значит мог? Один раз Фроим-таки решился...

Это было как раз в тот год, когда ему исполнилось двенадцать лет. Всего за год до бармицве². Конечно, на свете живут не одни святые, встречаются и грешники, и не надо удивляться, что в некоторых семьях, вопреки самым строгим предписаниям Торы, позволяли себе смотреть на шалости, как на другие богом данные инстинкты, и когда один-другой мальчик неожиданно для своих родителей заблаговременно становился мужчиной, они, обезоруженные любвеобильностью, застенчиво улыбались про себя, вместо того чтобы его публично выпороть. Что здесь такого, рассуждали они, если мальчику для здоровья понадобится женщина?

Мать Фроима, Гише-Рейзл, к счастью, смотрела на эти вещи иначе. Она была женщиной строгих правил и воспитывала своего единственного сына не только в любви и нежности, а и в кротости и покорности. Но кроме матери мальчиков воспитывает улица, и на ней нашлись два малолетних босяка, которым удалось затащить своего однолетку Фроима в заведение Ханке-ды-геле, благо возраст не служил в то золотое время ограничением для пропуска в публичный дом.

Решив вкусить от плода запретного, три малолетних любовника собрали кое-какие гроши и предстали перед пахнувшей чужим бельем владелицей шикарного заведения на Скобелевской улице. Хенке-ды-геле, стареющая бандерша, тело которой уже давно напоминало холодец из свиных ножек, встретила мальчиков со змеящейся улыбкой, вечно мокрыми губами и нескрываемым презрением. Тщательно пересчитав мелочь, она сплонула и разразилась такими словами:

— Какая плата, такой товар, молокососы! Но я дам вам товар, с которым вы не справитесь даже втроем. Шлепайте в девятый номер и скажите Двойре-рейте-бакн³, что я сказала.

— Она сказала! — воскликнула возмущенная Двойра, обнаружив у дверей своего номера троих детей. — Как будто бы, если она сказала, то у грудных младенцев сразу возьмут и вырастут усы? Как будто бы три сосунка по десять лет заменят тридцатилетнего бугая! — Женщина вдруг горько всхлипнула, ее большие серые глаза увлажнились слезами, тонкое лицо, обрамленное черными волосами, приняло азартное выражение. — Заходите, деточки, заходите, чтоб этой бандерше пусто было.

¹ Ханка-рыжая.

² Ритуал посвящения мальчика в мужчины.

³ Двойра-Красные щеки.

Мальчики немного растерялись — наверное, в первый раз в таком положении мог растеряться сам сказочный Шайке-Файфер или даже знаменитый на весь город ухажер и голубятник Сергей-Шпундяк. Мальчики приросли к полу, как будто их приковали к нему, и к тому же, наверное от стыда, они еще покраснели, как спина в парилке.

— Ну, что у вас — на ее голову — ножки отнялись? — и Двойра, собрав в охапку трех своих гостей, силой толкнула их в свой, пропахший потом и лавандой номер. Мальчики, переступив порог, как бычки, исподлобья стали разглядывать двойрины апартаменты. В узкой, как женский ремешок, и грязной, как немытая посуда, комнатке стояла деревянная кровать, а рядом с ней маленький стол с зеркалом. На полу валялись пустые винные бутылки. Со стены смотрела вырезанная из какого-то журнала мадонна, может быть даже циркачка, которую дети видели в балагане на базарной площади — она бегала по проволоке, и все страшно волновались, чтобы она не свалилась на голову публике.

Между тем Двойра быстро убрала со столика все лишнее и из какого-то тайника за кроватью достала хрупкие фарфоровые чашки и блюда, украшенные тонкими прозрачными японскими рисунками — на фоне Фудзиямы ветка голого осеннего дерева склонялась над опустевшим птичьим гнездом. Двойра налила в чашечки чай и на отдельном блюдечке разложила конфеты. Она двигалась по комнате, как вор в чужой квартире — на цыпочках, подняв свои красивые круглые плечи. Лицо ее и особенно глаза светились изнутри так, словно в них зажглись пасхальные свечи. Со стороны могло показаться, что мать кормит своих детей, которых очень давно не видела.

— Кушайте, деточки, кушайте, чтоб она только подавилась, эта рыжая шлюха, — говорила Двойра, с опаской оглядываясь на дверь. — Забирайте назад ваши копейки и идите, деточки, лучше в цирк, и даже, когда вы станете уже большими бугаями, чтоб я вас здесь не видела.

Мальчики стояли не шелохнувшись, не притрагиваясь к угощению. Сесть можно было только на кровать, но дома их учили, что на чужой кровати сидеть нехорошо. И кто знает, чем бы это все кончилось, если бы вдруг не распахнулась дверь и на пороге не появилась разъяренная Ханке-ды-геле, для которой время было деньги.

— Так вот, киндер: одер гакн, одер какн¹, или валяйте домой мимо кушать цимес!

Мальчики чуть не загорелись от краски и, с трудом оторвавшись от пола, убежали, как с пожара. С той поры мысль о женщине вызывала у Фроима ощущение ожога. А кто скажет, что ожог — это одно удовольствие?

И вот проходит десять лет, и в один оранжевый осенний день

¹ Непереводимо.

в фаэтон двадцатилетнего Фроима Каца садятся мать с дочкой и просят отвезти их на старое еврейское кладбище, где они должны почтить память их мужа и отца. И, как на грех, у дочери расстегивается блузочка и как раз на глазах у Фроима, и он слепнет. А когда она спрашивает его о смайсерах, Фроим понимает, что они из одного племени, из одного извозничьего клана, ибо ни у кого больше, а только у извозчиков, водились смайсеры.

Смайсеры были молодые люди, которым доверялось выгуливать молодых лошадей. Доверял им это занятие владелец лошадей. А единственным владельцем лошадей, а не лошади, если не считать параконки Фарштандикера, был Нисл Фишес. Так что Фроим его вычислил как дважды два. Редкий извозчик не прошел школу смайсеров Нисла Фишеса, каждый из них запомнил его на всю жизнь. Жадюга он был просто адский. Чтобы Нисл позволил своим смайсерам впустую выгуливать лошадь? Не такой он дурак! И смайсеры одновременно исполняли роль извозчика, но заработок обязаны были отдавать хозяину. Весь. До копейки. Мало того. Нисл сверлил смайсера, вернувшегося домой, совиным взглядом и ни с того ни с сего заученным приемом ловко ставил с ног на голову и таким методом вытряхивал из карманов припрятанную мелочь.

— Ваш папа, царство ему небесное, это Нисл Фишес? — спросил Фроим и сам удивился своему красноречию.

— Ой, как вы угадали? — всплеснула руками дочка.

— Вы и ваш папа, как яблоко и дерево, — сказал Фроим.

— Мой папа был красавец, да? — с надеждой спросила девушка.

— Как две капли воды, — не узнавал себя Фроим.

Если бы Зелдочка не ослепила Фроима, он выложил бы ей все начистоту — не такой он, Кац, прохвост, чтобы выдавать черное за белое. Но когда человек слепнет, он уже вообще не различает цвета. Поэтому Фроим, может быть первый раз в жизни, слукавил и, проглотив неприятные воспоминания, ограничился восхвалением красоты покойного Нисла Фишеса, что вызвало и у дочки, и у ее мамы приступ слез и симпатии к молодому извозчику. И мама сказала, что Фроим может к ним иногда заезжать, потому что сразу видно, что он из хорошей семьи, раз он отказался брать с них плату за проезд. Из хорошей так из хорошей, а чем в самом деле была плоха семья извозчика Лейбеле Каца и его жены Гише-Рейзл, которые за всю жизнь заимели одного сына и доставшуюся ему по наследству полуразвалившуюся хатку.

Через полгода Фроим и Зелдэ поженились, а вскорости молодая жена сбежала от него к актеру погорелого театра Левке Тупьку, по прозвищу Шпиц, поскольку он был необрезанный. Левка посулил ей золотые горы и турне по Европе. Если бы он не произнес это таинственное слово «турне», Зелдэ, может быть,

не решилась бы бросить Фроима, но это слово было произнесено, и их судьба была решена.

Это был второй, самый страшный ожог, который испытал Фроим, и за двадцать лет не прошла от него боль. Наоборот, она прокралась во фроимовское сердце, и с неплохим набором иголок. И швейная машинка времени не скупясь пускала их в ход.

Но второй ожог, каким бы он ни был горячим, это еще не последний ожог. И бог свел Фроима Каца с Мерой Киммельман. Бог не мог их не свести. Это было бы с его стороны не по-божески. Маленький, голубоглазый, тихий, сухонький Фроим Кац и дородная, черноглазая, буйная Мера Киммельман встретились, как встречаются два месяца одного и того же года — у них разные судьбы, но одно предназначение. Фроим и Мера хотели, чтобы было хорошо тому, кто с ними, а не им самим.

VIII

Теперь скажите: в вашем доме поют? Что значит — поют? Я не имею в виду, что в вашем доме поют Утесов, Шульженко, Эпельбаум или сестры Бер, или Клара Юнг, или Тамара Ханум. Я имею в виду, что в вашем доме поет женщина, и эта женщина — ваша жена. Если жена поет в вашем доме, то в нем всегда весело, даже если она поет невеселые песни. Мера Киммельман стала петь в доме Фроима уже на следующий день после переезда. Она пела колыбельную своему маленькому сыну, но услышав, как поет Мера, Фроим тихо прослезился и, чтобы не разрыдаться, ушел якобы кормить лошадь. Фроиму разорвал сердце голос Меры. Этот голос крутил землю в обратную сторону и докручивал до того времени, когда была жива его мама Гише-Рейзл, и Фроим сразу видел себя маленьким мальчиком на ее коленях и слышал ее грустное пение, потому что она тогда похоронила мужа и осталась на всю жизнь вдовой.

Начать издаюла надо:
С еврейского короля.
Печальная эта повесть,
Неизбывное горе!
Король жил в былое время,
Была у короля королева,
Был сад у королевы,
Всех садов прекрасней.
Росло деревце средь сора,
Была на деревце веточка,
Гнездо на ветке было
С голосистой птичкой.
Люли, люли, пташечка.
Люлиньки, дитя!
Какой любви я лишилась!
Спи, моя печаль!

И вдруг вновь зазвучала в доме песня, и снова пела ее женщина, и снова маленькому мальчику! Так кто скажет, что нет возврата в прошлое? Может быть, возврата и в самом деле нет, но только до той поры, пока в доме не запела женщина. Голос у Меры был в противовес ее фигуре тонким, а песни у нее были какие-то легкие, веселые, смешные:

- Птичка, птичка!
- Пи-пи-пи!
- Где твой отец?
- Ушел, спи!
- Когда он придет?
- Поздно ночью.
- Что он принесет?
- Пива бочку.
- Где поставит?
- Под окном.
- Боком ли, стоя?
- Вверх дном.
- Чем покроет?
- Рогожею, рогожею.
- Кто будет пиво пить?
- Я, ты тоже.

Одну песенку Фроим сразу выучил наизусть:

- Меня зовут Залман,
Отца зовут Калман,
Брата зовут Зорух,
Деда зовут Борух,
Мать зовут Бейле,
Сестру зовут Кейле,
Лошадку — Сирке,
Котенка — Мирке,
Йоха — бабка моя.
Вот и вся семья!

Если женщина знает столько песен, разве можно ее не любить? А когда мужчина любит, чье женское сердце не растает, даже если оно превратилось в лед. И прошло время, и под сердцем Меры Кац, бывшей Киммельман, стал биться плод новой жизни, и была бы эта жизнь как жизнь, если бы на седьмом месяце не настиг ее белопольский снаряд, которому надо было залететь как раз в фроимовский огород и как раз в то время, когда тяжелая Мера вышла из дому, чтобы собрать своих детей, которые резвились, не обращая внимания на канонаду. Один лихой глупый снаряд, и Мера Кац разрешилась на два месяца раньше срока двумя мальчиками, у которых все было на месте, но, как потом выяснилось, отнялись еще до рождения ножки.

Наверное, черт все-таки бдил у фроимовского дома. Хотя не надо его зря поминать — черти из пушек не стреляют.

IX

В ту осень Фроим Кац натолкнулся в Еловикском лесу на семейство клопов-щитников. Он их сразу узнал по жестким крылышкам. Клопы устроили себе постель под сухими листьями и готовились тут, в тепле, перезимовать. Он случайно наступил на них, и они обдали его вонючей жидкостью. Стал бы Фроим их трогать, забот у него больше нет, что ли! Он мог бы, конечно, пойти другой дорогой и не связываться с этими тварями, но иди знай, где они попадутся на твоём пути.

Лес, хоть и старался, не мог спрятать от зоркого глаза извозчика всех боровиков, опят и подберезовиков, уцелевших ягод или рябиновой грозди — в руках Меры вся эта добыча превращалась в лакомства, а кому заняться ими — об этом не надо было беспокоиться, и Фроим посапывал от удовольствия, глядя на своих деток — его сердце в такие моменты обходилось без игл.

Фроим мечтал о том дне, с которого его жизнь потечет спокойно, как зерно в мельничный жернов. С приходом Меры он потерял эту надежду. И не жалел об этом. Мера стала заполнять его думы, и эти думы поили его сладким молоком. Он понял, что не один на свете. Он понял, что его ждут. Ждут, как птенцы в гнезде, кормильца. Весело бегала по улицам фроимовская лошадка.

Веселье это длилось до того самого дня, когда в Первую следственную комиссию Бобруйска поступил документ, зарегистрированный под № 4993 (впрочем, номер можно было бы из конспиративных соображений и опустить), в котором говорилось следующее:

«Приблизительно в ночь с 22 на 23 апреля с. г. на исходе еврейской пасхи была совершена кража соли из нашего склада по Гоголевской ул. во дворе Анисимова. Склад соли у нас был запасной (не расходный) и проверялся каждый день или через день. По доносу анонима, некий Гутин, проживающий по Семеновской улице, имеет участие в краденой соли. Немедленно нами были посланы сотрудники, которым после обыска удалось обнаружить 2 мешка соли. Гутин — член Союза ломовых извозчиков, и так как указанный выше Гутин живет во дворе председателя Союза ломовых извозчиков Менделя Ноткина, мы нашли необходимым задержать Ноткина и потребовать от него выдачи всех причастных к краже лиц. По указанию председ. Ноткина был арестован член Союза Ноженков, который дал обещание, если его освободят, то найдет и укажет, где находится уворованная соль и кем. Сам личное участие в краже будто бы не принимал... Стоимость уворованной соли равняется 6 тыс. руб.».

Вот тогда и посадили Фроима Каца в каталажку. При чем

здесь Фроим? Однажды вечером «указанный выше Гутин» постучался к Фроиму и спросил, можно ли у него оставить до утра один «тайно-секретный товар, насмерть важный для Союза». Фроиму бы сказать гостю, что Союз легковых извозчиков и Союз ломовых извозчиков — это не одно и то же и пусть Гутин ищет место для тайно-секретного товара у балаголы Рафки Вольфсона, а не у него, Фроима. Мера советовала мужу:

— Не связывайся, Фроим! Эти бандиты тебя посадят в яму. Выгони этих ворюг! Обойди этих вонючих клопов! Потом не отмоешься. Зачем тебе, Фроим, в такое время прятать этот бандитский секрет!

— Эта мая дела, — заупрямился вдруг Фроим. Он еще не научился слушаться советов жены, а Мера не знала, что он еще не научился — Хацкеля учить не надо было, он, как все нормальные мужья, специально появился на свет, чтобы без совета жены не сделать ни одного шага в любую сторону, в любое время, по любому поводу. Еврейская жена вообще не прочь обращаться с мужем, как генерал с солдатом, и не часто находятя солдаты, которые не слушаются генералов, если те и другие не хотят проиграть битву. Так что Фроим по своей мужьей неопытности и детскому упрямству уже обрек себя на неприятности.

— Эта мая дела, — продолжал лопотать себе под нос этот новоявленный Наполеон, и «указанный выше Гутин» спрятал в фроимовском сарае, за яслями два тайно-секретных мешка. Что мог сказать Фроим в свое оправдание, когда у него нашли этот «насмерть важный» для профсоюза ломовых извозчиков товар? Он мог только кусать локти и давить скамью в предварилровке ЧК, и неизвестно, сколько бы времени он занимался этим делом, если бы, как снаряд в окно, не влетела в дверь Лиакумовича сама Мера и тот не шарахнулся от нее, как от взрыва.

— Хавер¹ Лиакумович, как вы, например, скажете, кто это перед вами стоит? — спросила Мера. — Перед вами стоит самая больная и самая несчастная женщина на весь Бобруйск. Ша! Я продолжаю вас спрашивать: у вас есть глаза или они повылазили?

— Женщина, ты попала не в ту дверь, — сказал Лиакумович. — Здесь работает продовольственный комиссар, а не сумасшедший доктор.

— Ага, так я еще полоумная, на ваше мнение! — крикнула Мера. — Один мой муж лежит в лесу с пулей от зеленых бандитов, а другой лежит в тюрьме от красных комиссаров, а я имею восемь душ детей, не считая второго мужа, который в самом деле мой девятый ребенок. Хорошенькое дело! Один жулик крадет соль, другой, как дитя, сидит в ЧК!

— Швайг!² — крикнул Лиакумович. — Швайг! Или я прикажу тебя высыпать отсюда.

¹ Товарищ (евр.).

² Молчи (евр.).

— Я высыплюсь только тогда, когда здесь будет Фроим, — заявила женщина, и продком понял, что другого выхода у него нет. Он долго крутил ручку телефона, кричал, умолял, приказывал... Стоило Мере назвать имя своего мужа, и Лиакумович все вспомнил и все понял. Он вспомнил, что этой женщине так и не вернули «продукты для ее бедной лавочки», он понял, что извозчик Фроим Кац, этот стоик с глазами Иисуса Христа, снова влип в какую-то историю, и никто, кроме него, Лиакумовича, не сможет выручить его из беды. А если он может выручить невинного человека, так почему он должен обращать внимание на крики этой несчастной женщины, которую он ни за что ни про что оскорбил? Мало того, что ее незаконно ограбили эти тупицы Пружинины...

— Иди домой, женщина, — тихо сказал продком. — Твой Фроим будет дома сегодня, или я выстрелю себе в лоб.

Х

Веселое было время! Новое! Новое, как парусиновый костюм, который висел у Фроима Каца для пасхального визита в синагогу. Он надевал его и терял себя, привычного, знакомого, послушного. Но этот костюм щекотал извозчика каким-то приятным ощущением праздника. Порой ему казалось, что он родился еще раз и сегодня в его фаэтон должны сесть Зелдэ Фишес и ее мамочка, и он повезет их на старое еврейское кладбище, где они почтут память их мужа и отца, известного в городе содержателя смайсеров Нисла Фишеса.

Пробегут годы, и Фроим вспомнит свою последнюю встречу с Зелдочкой через много-много лет после того, как она сбежала к Левке. На самом деле это была встреча с ее голосом, а не с ней самой, его Зелдочкой. Фроим иногда заглядывал к своей двоюродной сестре Фейгл, на которой — кто бы мог подумать! — неожиданно женился Борух, сын дантиста Беньомина Родштейна. Это счастье дорого обошлось наследнику — он был отлучен от отцовского дома и влачил нищенскую жизнь в слепом домишке портняжки Шолома Каца, отца Фейгл. Но кроме нищеты в этом доме царила доброта, и на ее свет собирались по праздникам родственники, чтобы отведать фаршированную рыбу и другие вкусные вещи, которые раз в год умудрялась из ничего приготовить Фейгл.

Фроим заглянул к ней и уже в сенях услышал голос Зелдочки, — он бы узнал его среди сна, — спорившей с двоюродным братом Боруха Авром-Мойше, обладавшим странным прозвищем Манчепудл и отвратительным характером.

— Ну, — кричал Манчепудл по-еврейски, — можете меня зарезать, но я нашу Советскую власть не понимаю.

— Ша, кричальник! — возмущалась по-русски Зелдочка. — Что значит — ты не понимаешь, или мне случайно послышалось, что ты ее ругаешь?

— Потому что тише едешь — дальше будешь! — орал Авром-Мойше. — Время собирать камни и время раскидывать камни. А с чего это разбрасываться камнями, если их еще не собрали! Куда они торопятся со своими колхозами, совхозами, смахозами!

— Реб Авром-Мойше, выражайся со смыслом, — требовала Зелдочка, по прозвищу Баядерка, оскорбленная за Советскую власть.

— Смысл, дрысл, сысл! — не снижал голоса Манчепудл. — Хорошо. Я дам тебе смысл. Вот ты, Баядерка, жила в хорошем домике, как яблоня в саду. И сад у тебя был, и огород, и картошка, и груша. А что у тебя есть теперь?

— Вот вы спрашиваете, реб Мойше, что у меня есть теперь, так я вам отвечу, что у меня есть теперь воспоминания, — вздыхала Зелдочка. — Мой второй муж после мимолетного Фроима Каца был актер! А я была женщина — будьте уверены. У меня был бюст, бедра, и все мужчины лопались, как мыльные пузыри, когда я проходила мимо. И только Левка влез мне в душу, поскольку он артист. Актер! — восклицала Баядерка.

— Погорелого театра, — вставлял Манчепудл.

— Так с этим погорелым театром я проехала полсвета, если не чуточку больше, — продолжала Зелдочка. — Один раз я сидела в Одессе и самолично видела, как из автобуса льется вода и моется улица, одно слово — лично дождь не идет, но лужи, как от дождя.

— Лужей у нас хватает своих на три Бобруйска, — гнет свое Манчепудл. — Ну, а ту или другую тряпку купить можно? Или, короче, достать, а?

— Ой, реб Авром-Мойше, — кричала Зелдочка, — чтоб я была здорова, как вы, а вы красивы, как я, что в смысле фасона нет отбоя. Один раз в Виннице один портной меня буквально за рукав втащил в мастерскую, напялил на меня чужую вещь и начинает меня нахально убеждать: «Мадам, купите этот пальточек, она лежит на вас, как никто другой!»

— Даже лучше за Левку? — доносился до Фроима голос Манчепудла.

— Какой вы смеяльник, реб Мойше, — парировала Баядерка. — Вы все любите выворачивать из пустого в порожнее, Мой Левка как мужчина может претендовать на главную роль, хоть любил иногда пойти на сторону — пусть ему будет на здоровье!

— Зелдочка, — своевременно вмешалась в разговор Фейгл, — покудова тебе было лучше — дома или там, в кол-коллективе?

— В целом, — отвечает Зелдочка, — мне там ничего, но мисерально тяжело, — опять вставила она русский оборот.

— Так зачем тебе надо было менять шило на мыло! — интересовался Манчепудл. — Если все возьмут и переберутся в дом коллектива, то тогда кто будет снимать урожаи с огородов, не

говоря уже про яблоки и груши? Куда они торопятся со своими коллективами, наши балабатым¹.

— Реб Мойше, — переводила разговор Фейгл, — берите голову и высасывайте из нее косточки и не надо огорчаться на Советскую власть, дай ей бог здоровья!

— Какой вы, однако, нахальник, дядя Мойсей, — не сдавалась Баядерка, — просто загляденье смотреть на вас, хотя от ваших разговоров у меня как будто поезд идет в голове. Когда мой дорогой отец лежал на смертном ядре (это тоже ее русский оборот), то вы меня, дядя Мойсей, также само донимали своими глупостями, в то время как у меня трясло весь организм. Вы меня прямо душите своими буржуйскими штучками насчет Советской власти. Как будто вы не еврей, а Капустин-дер-урядник².

— Про чего ты мелешь, Зелдочка! — гугливо оправдывался Манчепудл. — Я думаю, наша Советская власть, как еврейский бог, долго терпит, но всегда наказывает. Но если наш бог, иначе говоря — Советская власть делает глупости, как я понимаю, так я что — слепой, немой и глухой и должен притворяться, да?

Фроим так и не вошел в дом и, не дослушав разговора, тихо покинул сени, а голос Зелдочки догонял его, будто музыка, звучавшая по вечерам в саду имени Горсовета.

XI

1-я Великопольская Познанская дивизия сначала хорошенько потрясла город из легкой и тяжелой артиллерии, а потом, даже не передохнув, ринулась в Бобруйск на танках, подняв на его песчаных улицах ужасную пыль. Куда было деваться людям? Не бежать же в Березину топиться. У Березины и так хватало дел. Она и так темнела лицом за свой город, она и так краснела его кровью, бессмертная, бессменная, бессонная Березина... Это же просто страшно подумать, что было бы с городом без ее вечного течения. Ничего бы не было. Потому что без Березины не было бы самого города. Матери вскармливают детей. Реки вскармливают города. Матери умирают. Реки — никогда. Березина мелела в жару, рябилась в дождь, по-женски тяжела весной, но в ее сердце билось одно чувство, одна боль — она любила и берегла свой город, свой Бобруйск. Березина унесла на прибрежные помойки немало мундиров и другого казенного имущества, впопыхах кинутого несостоявшимися претендентами на бобруйский престол.

И вот опять разделила Березина два войска — 31 тысячу польских штыков, 2200 сабель на правом берегу и 6845 красных штыков и 640 сабель на левом берегу. Среди красных штыков и сабель одна винтовка принадлежала Мульке Лапяку.

¹ Хозяева (евр.).

² До революции известный в Бобруйске жандарм.

Чтобы в одни руки попали и винтовка и сабля, в те дни считалось непопустительной роскошью. И речь сейчас пойдет не о винтовках и саблях, а о том, как Мульке Лапак стал красноармейцем. Далеко не каждый бобруйский еврей родился красноармейцем, а если и становился им, то совсем не по той причине, по которой подался к красным балагола Мульке Лапак. И надо еще подумать, кто сыграл в его жизни большую роль — Красная Армия или извозчик Фроим Кац?

И это тем более интересно, что Мульке не приходился Фроиму ни братом, ни сватом, но случилось так, что их жизни переплелись, как два ствола близко растущих деревьев — они срастаются и кажется, что так и было predetermined самой судьбой. Славно задуманная полоса оседлости, которую цари даровали евреям, имела свои бесспорные прелести. Люди, загнанные любовью и милосердием правителей в эти отгороженные от остального мира земли-тюрьмы, хоть и жили, как положено арестантам империи, в бедности и бесправии, компенсировали эти бесплатные дары взаимовыручкой, бескорыстной дружбой, чисто семейной осведомленностью в делах друг друга.

Если Фроим решался навестить в деревне Боровая своего двоюродного брата Абе-Мотла Белкина, его жену Блюме и их детей Соре и Волю, то молодой балагола Мульке Лапак самовольно и добровольно вызывался сопровождать соседа и предлагал свою ломовую лошадь и свои необъятные, как царская милость, дроги, чтобы отвезти кое-что туда и привезти кое-что оттуда. Абе-Мотл унаследовал от отца корчму и благодаря этому ротшильдовскому наследству женился на первой губернской красавице Блюме, одной из восьми дочерей печника Вульфа Вайнера, никак не сумевшего хоть раз в год досыта накормить свое семейство. Дочери уходили в служанки, прачки, домработницы, кухарки, чтобы за кусок хлеба отдать свои молодые годы. Так что Блюме еще повезло, и Фроим, приезжая в гости, любовался ее красотой, согревался ее добротой и радовался за своего родственника.

Счастье Абе-Мотла кончилось в тот день, когда в Боровую ворвались белополяки и решили повесить корчмаря, а может не корчмаря, а жида, а тем более и корчмаря и жида в одном лице. Но повесить главного врага свободной Польши не удалось, потому что Абе-Мотл, когда его тащили к виселице, тронулся умом, и даже у его палачей не хватило совести набросить ему на шею петлю.

Конечно, если бы Фроим и Мульке оказались в Боровой в тот самый час, когда жолнежи так старались, то мог получиться большой скандал — не из тех Мульке людей, чтобы стоять в стороне, когда грозит гибель невинному человеку, и даже Фроим не удержал бы его от драки. Но разве мог Мульке Лапак поступить по-другому? Разве мог балагола дать в обиду слабого? Кто, если не балаголы, представляли в Бобруйске неустрашимую, исполненную самоуважения и достоинства касту

аксоним, что можно перевести и как упрямы, и как упыри, и как гордецы, а скорее всего как все эти обозначения, вместе взятые.

Мульке Лапьяк из-за своей негибкой, как спина его тяжеловоза, фанатерии умудрился потерять десяток молодых зубов, и если бы не золотые руки дантиста Беньомина Родштейна, двадцатилетний крепыш никогда не имел бы приличного рта и, конечно, как своих ушей не увидел бы своей Ольги. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Сначала о дантисте Беньомине Родштейне. Что умели в Бобруйске, так это уважать интеллигентного человека. После бога самым уважаемым среди евреев был интеллигентный человек. Зубной техник Беньомир Родштейн был, по общему признанию, самый интеллигентный еврей города. Если учесть, что город был для абсолютного большинства евреев и миром, то Беньомина Родштейна считали и первым интеллигентом в мировом масштабе. Все, что делал Беньомир Родштейн, было красиво и доставляло людям большую радость. Если он делал зубы, то они были лучше настоящих — наверное, у бога не хватило жемчуга и он употребил на зубы бобруйским евреям другой материал, менее драгоценный, чем жемчуг. Но если еврей попадал в кресло Беньомина Родштейна, то бог мог не укорять себя за то, что поскупился на жемчуг, — золотые руки Беньомина Родштейна делали золотые зубы!

Такие были у Беньомина Родштейна руки. Казалось, десять лебединых шей свили гнездо в ладони этого человека, благообразного и элегантного, как скрипка.

Скрипка, впрочем, и была второй страстью Беньомина Родштейна.

Она могла стать и первой и единственной, не поскупись бог на жемчуг для бобруйских евреев.

Иногда, пока клиент сушил открытый рот, Родштейн брал в руки скрипку и улаживал слух своего пациента мелодией Паганини или — в зависимости от настроения — еврейской песней, от звуков которой рот пациента не сох, а, наоборот, влажнел, потому что в него по морщинам щек, как по желобам, стекали слезы.

Пациенты гордились дантистом Беньомином Родштейном почти так же, как демобилизованные кавалеристы Буденным. Но всеобщее уважение к реб Беньомину вызывали не зубы и даже не скрипка, вернее не столько они, сколько до-ку-мен-т, висевший в старомодном паспарту над креслом дантиста. Каждый, кто мог читать, а читать не умел почти никто, имел возможность, сидя с уже заранее открытым ртом, смотреть на документ и исходить сладким, как осенняя слива, почтением при виде большой красной сургучной печати, крепившей алюю ленту в углу документа, который назывался — АТТЕСТАТЪ.

Вот его текст:

«По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Одесская общая ремесленная управа постановлением своим от 12 сентября 1906 г. признала Бобруйского мещанина Беньюмина Мордуховича Родштейна въ звание мастера зуботехнического ремесла по ювелирному цеху с 14 сентября 1906 года. Впоследствии чего выдан настоящей аттестат с правом: открыть мастерскую, держать подмастерьев на работе и принимать в ученье по своему ремеслу учеников, по установленному контракту, подрываться на работу своего ремесла, и на изделиях ставить штампель или клеймо, если таковое разрешено и дано Управою. Родштейн Б. М., как цеховой мастер, обязан быть честного и трезвого поведения, иметь вывеску своего ремесла, подмастерьев и учеников учить толково и прилежно, обходиться с ними кротко и человеколюбиво, быть справедливым хозяином, добрым руководителем их, заработанную плату производить аккуратно и своевременно, а в случаях неповиновения подмастерьев или учеников приносить жалобы цеху; подмастерьев без подмастерских книжек, как разрешений от цеха, на работе не держать и не принимать (391 и 413 ст. Уст. Рем. Пром. изд. 1887 г. и предписание Г. Одесского Градоначальника от 4 декабря 1885 года за № 13548); в книжках отмечать условия найма, плату, поведение подмастерья и знания его, а при переходе подмастерья от другого мастера требовать этих отметок и расчета по книжке; строго запрещается держать лиц безпаспортных.

Настоящий аттестат имеет силу только с 14 сентября 1906 г. по 25 февраля 1907 г. и по истечении этого срока должен быть представлен в Присутствие Управы на перемену (по духу 375, 376 и 378 ст. Уст. Рем. Пром. изд. 1887 г. и предписания Г. Одесского Градоначальника от 4 апреля 1886 г. за № 481), виновные в неисполнении этого требования, согласно прописанному распоряжению Г. Одесского Градоначальника, будут привлечены к строгой ответственности по закону.

Приметы мастера следующие: лет 25, росту 181, волосы на голове и бровях — каштановая, глаза — синие, лицо — чистое, подбородок — обыкновен.

Ниже шли подписи ремесленного головы, членов присутствия и присяжного маклера. А чуть сбоку, рядом с красной сургучной печатью, красовалась фотография самого Беньюмина-Бен-Мордухая Родштейна, спокойно-красивого в своей черной паре, белой рубашке с закругленными краями воротника, с косым пробором в густых волосах.

Аттестат Беньюмин получил, уже будучи женатым человеком. Женился он, как это иногда совпадает, — и по любви, и по расчету — на красивой еврейской девушке — Мирл, дочери шойхета Шахнэ Байофиса — и каждый, кто видел эту пару, не мог нарадоваться на дело рук божьих — Беньюмин и Мирл дополняли друг друга, как портрет и рама, как замок и ключ, как сыр и масло.

Мирл снимала с мужа каждую пылинку, держала в чистоте и уюте дом, готовила своему Венечке — называть мужа на русский манер считалось привилегией интеллигентных евреев — изысканные кушанья — его любимые редьку с гусиным жиром, бульон с кнейдлах или с мандлен, или с розами, или росл-флейш, или жаркое с черносливом...

Мульке помнит, как Мирл — это было сто лет назад — вдруг предлагала детям поесть тейглах. Мульке готов побожиться, что после его мамы Фейге-Шоше лучшие на свете тейглах готовила Мирл Родштейн. Приготовление блюда она превращала в таинство, священный обряд. Начиналось все с вопроса, который Мирл вдруг задавала, задумчиво глядя из-под очков:

— Киндер, а что если я совсем... — и дети замирали в предвкушении чуда. — А что, если я совсем возьмусь за тейглах?

Совсем так совсем! И детей не страшили испытания, которые им предстояло вынести. Надо иметь врожденный талант, чтобы крошечные баранки, плетенки, птички, шарики из желтого — от большого количества яиц — теста после варки в меду в несколько раз увеличились в объеме и превратились в янтарно-золотистое, тающее во рту лакомство. Главное — не поднять раньше времени крышку с кастрюли с медом, в которой они варятся. Одна секунда не в ту сторону — и все пропало: тейглах опадут и превратятся в камешки, которые не раскусить даже железным зубам. Мирл не только знала точно, когда надо поднять крышку. Она предпринимала и другие, довольно крутые меры. Все двери в доме закрывались, не говоря уже о кухонной, и детям не разрешалось на протяжении всего торжественного процесса варки не только пробежаться по комнатам, но даже чихнуть или кашлянуть за стенкой. Но дети готовы были на все, лишь бы услышать торжественное:

— Ну, на этот раз, кажется, нечто особенное.

И это действительно было нечто неземное, возвышающееся горкой на фарфоровом блюде и источавшее запахи, от которых можно было проглотить вместе со слюной язык.

Беньомин был по природе неженкой и, попав в материнские руки своей жены, любил покапризничать перед ней, как ребенок.

— Миреле, — говорил он, обсасывая указательный палец. — Ты бы что-нибудь спекла, а, моя милая? Что-нибудь сладенькое...

Беньомин был сладкоежкой, и когда она бралась за торт, то следила в оба за своим мужем. Стоило ей отвернуться, и ее Венечка сыпанет в тесто сахару в таком количестве, что, кроме него, никто этот бисквит уже в рот не сможет взять.

— Ай, — пожурит его Миреле, — Венечка, Венечка, ты режешь меня без ножа.

— Я что-то не слышал, чтобы сахаром можно было что-то испортить, — оправдывался он, краснея, как девочка на первом свидании.

Жизнь свела этих людей и подарила им любовь, и уважение, и достаток. И даже Фроим Кац, даже он, этот первый социалист Бобруйска, не признававший никаких фамильных или родовых преимуществ, чувствовал себя заводчиком, когда у него за спиной сидели реб Беньомин и его аккуратная, завитая, как пасхальная хала, Мирл. Правда, это случалось крайне редко, разве только в праздник, когда реб Беньомин удостаивал визитом кого-нибудь из своих родственников.

Однажды Мульке, который был ровесником сына Родштейнов — Боруха, был приглашен реб Беньомином сопроводить его и Мирл в гости к двоюродной сестре.

— Ты теперь, ласкадрыга, имеешь полное право снять с трона английскую королеву — я придумал тебе интеллигентное выражение, хотя оно тебе не совсем к лицу, — заметил Родштейн.

— Мне задаром эта цуре¹ не досталась, реб доктор. Я уплатил вам на полную катушку, — напомнил Мульке.

— Ты все вернешь обратно, когда станешь английским королем, — улыбнулся дантист.

Английским королем Мульке не стал, потому что на его пути случайно не оказалась английская королева. На его пути случайно оказалась дочь польского полковника Казимежа Оскоцкого — Ольга. Так что Мульке ничего не оставалось, как стать его зятем. Такое счастье наверняка даже не снилось будущему тещю.

Ольга Оскоцкая была дочерью полковника интендантской службы, который появился в Бобруйске вместе с 1-й Великопольской Познанской дивизией. Казимеж Оскоцкий утверждал, что красные нечестивцы захотели сделать из мужика пана, но не дай бог свинье роги, а мужику панство, поскольку паном надо родиться, а стать им невозможно. Полковник готовился обосноваться в городе надолго, и каменный особняк, который он себе облюбовал, стал обставляться с изысканной роскошью и тонким вкусом. Жил он вдвоем с дочерью, которая была единственным светом его очей, и этот свет действительно сиял такой красотой и прелестью, что смотреть на него было просто опасно. Женская красота — это солнце: попробуйте смотреть на него долго — заплачете.

В одно солнечное утро к дому полковника подъехал целый обоз балагол, который под штыками привез все, что положено заслуженному сыну отечества.

Вот тогда Мульке Лапьяк и увидел Ольгу, а Ольга увидела его. Так уж устроен мир: бог все видит и не любит оставлять без вознаграждения заслуги каждого на этой грешной земле. Раньше или позже. Заслуг и грехов много, а бог один. Он, бессмертный,

¹ Лицо (евр., жарг.).

повременить может, но чтоб забыть — такого еще не бывало в истории. За какие грехи бог воздал Казимежу Оскоцкому, известно только ему, самому богу.

Мульке тащил на себе старинную красного дерева кровать, на передней спинке которой сидели два искусно вырезанных ангелочка, когда на пути его встала Ольга. Можете себе представить молодого, коренастого бохера, рыжего, словно верхушка пламени, с бицепсами, словно лошадиные ляжки, с глазами цвета антоновки первой спелости. Можете себе представить, как выглядел этот Геракл, если даже Ольга пошатнулась, увидев его в этот сумасшедший день. День в самом деле выдался каким-то сумасшедшим, и поэтому не стоит удивляться, что возле дома Оскоцких в тот самый момент, когда Мульке увидел Ольгу, случайно оказался — кто бы вы подумали? — ну, конечно, Фроим Кац! Что ему там надо было, этой затычке во все дырки? Ему, как выясняется, ничего не надо было. Надо было пану старшему офицеру, который, на Фроимово счастье, решил лично засвидетельствовать свое уважение к пану Казимежу Оскоцкому и явился сюда вместе с обозом подарков, но сам — в фазтоне Фроима Каца. Как будто мало было в Бобруйске других извозчиков. Но счастье, как холеру, не объедешь, если оно или она тебе суждены. Так что Фроим стоял чуть-чуть сбоку и мысленно кормил свою лошадь овсом, когда его ударила молния. Откуда она могла взяться, эта молния? Фроим поднял глаза, увидел чистое небо, а когда он опустил их, то увидел Мульке и Ольгу. И он сразу понял, откуда взялась эта молния. Фроим мог побожиться, что он увидел, как между Мульке и Ольгой пролетела сначала искра, а потом целая молния. Фроим даже глаза зажмурил, чтобы не ослепнуть. А когда он снова открыл глаза, то увидел, как со спинки кровати красного дерева, вдруг ожив, сорвались деревянные ангелочки, как они вспорхнули ввысь, заработали крылами и солнце облило их золотом. Ангелочки закружили над головами Мульке и Ольги, а потом залетели в их сердца, раскрытые, как гнезда.

Мульке стоял, будто ясень, на который сели аисты. Он стоял и смотрел на Ольгу. Никто бы не отказался быть на его месте. Белые волосы девушки рассыпались по спине и груди, как сад, в котором поют птицы, и слушая их, уже не знаешь, как выйти из этого сада и где та дорога, которой ты в него попал. Этот сад был из тех садов, в котором всегда светло, особенно ночью, когда уходит на покой солнце и его место занимают два других солнца, обрамленные ресницами. Эти солнца никогда не гаснут. Не дай бог, чтобы они когда-нибудь погасли: все вокруг покроется снегом, обратится в лед, в смерть.

— Я буду вечером при тебе, — шепнул Ольге Мульке, начисто забывший золотую заповедь, гласящую, что нельзя резать в один день скотину и ее детеныша.

— Какие глупости вы себе позволяете, молодой человек, — пропела Ольга по-польски и подняла на Мульке два своих

солнца, и по той легкой тени испуга, которая по ним пробежала, он догадался, что ему таки да, надо вечером быть при ней. Поэтому он, проходя мимо Фроима, сказал ему тихо:

— Фроим, сегодня ты меня поджидаешь, и я буду не один, даже если этот фараон, — он кивнул в сторону старшего офицера, — из меня сделает ситечко.

— Если нада, Мульке, — сказал Фроим.

XII

На Инвалидной улице было только два каменных одноэтажных дома. Один, неподалеку от Семеновской, у самой дороги, неказистый, обшарпанный, занимало несколько семей голытьбы, от которой пахло за версту нищетой; другой особнячок, светлый и уютный, пахнувший заморскими духами и ладаном, стоял в глубине сада, за глухим забором с дубовыми воротами. Теперь у них нес службу польский солдат. Он охранял покой и безопасность полковника Казимежа Оскоцкого и его дочери Ольги. Так что можете, дорогой читатель, покрутить за Мульке головой, потому что свою он потерял. Надо потерять голову, чтобы связаться с полковником, его охранниками и шляхетской спесью. Больше хлопот у Мульке не было! Наверное, не было, раз он, сверкающий, как пламя, поздним вечером подкатил к дубовым воротам в фроимовском фэтоне и, выйдя из него, понес прямо к калитке большую плетеную корзину с яблоками, от которых можно было упасть в обморок, такой они источали аромат. Часовой, к счастью, в обморок не упал, а наоборот, подбежал к Мульке и приставил к его горячей груди винтовку:

— Стаць! Повидзяно не пуццаць!

— Мне надо Ольге, — сказал Мульке. — Я с ней договорился про свидание. А это, — он повел глазами на корзину с яблоками, — мое уважение.

Вечер был светлый, хмельной, с пьяным ветром, с одинокими звездами, горевшими в небе, будто свечи. Казалось, ветер вот-вот разбежится и погасит их, и тогда станет черно так, что собственную руку не увидишь. Услышав речь Мульке, часовой сначала принял его за сумасшедшего, потому что глаза у Мульке блестели, как у ненормального. Поэтому солдат опустил винтовку и начал дико ржать. Он смеялся так заразительно, что Мульке тоже улыбнулся. Он вообще теперь видел белый свет, как ребенок, который научился улыбаться и расточает свои улыбки первому встречному, обнажая свой беззубый рот. Откуда мог Мульке знать, что солдат смеялся еще и оттого, что мысленно представил себе рожу пана старшего офицера, когда тот увидит свою невесту Ольгу и этого рыжего жида идущими под ручку. Вы бы тоже засмеялись, все бы засмеялись, обладай они солдатской фантазией часового. Мульке тоже начал смеяться и даже попытался дружески хлопнуть жолнежа по плечу, когда тот вдруг одеревенел и, приняв стойку по уставу, гаркнул:

— А ну, докола марш, жидовска морда!

— Мне надо Ольге, — тихо сказал Мульке. — На минуточку. — Смеяться он уже, как вы сами понимаете, решил не продолжать.

— Кому повидяно, жид! И спшонтни свое смердзонце яблка! Марш!

— Мне надо Ольге...

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы мы забыли про Фроима Каца, который сидел на козлах, все видел и слышал, и когда часовой начал багроветь, быстро слез с козел, подошел к Мульке и тронул его за рукав, который, как показалось извозчику, горел огнем.

— Мульке, кум¹, — тихо сказал Фроим, — эта не твая дела.

Укусить Фроима не решилась бы самая злая собака, часовой же, увидев Каца, принял его за сообщника, и, не на шутку струхнув, с размаха ударил Мульке прикладом в грудь и тут же выстрелил в воздух. Мульке, конечно, не упал, не такой он слабак, чтобы его с одного удара сбили с ног. Но ответного удара Мульке не нанес. Сначала он хотел его нанести, но не смог этого сделать: все, что было связано с Ольгой, теперь решал не он, Мульке, а кто-то другой, что зажил внутри него. А кто этот другой, Мульке не знал, он с ним раньше никогда не встречался.

Так или иначе, но когда выстрел часового привлек несколько солдат и они стали скручивать Мульке руки и, обвязав их веревками, кинули его в фазтон Каца и приказали извозчику гнать в крепость, несчастный влюбленный не сопротивлялся. Ему даже не было больно. Ему стало больно, когда лошадь понесла и он увидел перед глазами солнечные зайчики — это мелькали в темноте рассыпающиеся из корзины золотые яблоки.

Бобруйская крепость за непробиваемыми кирпичными стенами стонала, выла, ревели от человеческих страданий. Устроенный в крепости лагерь военнопленных истекал кровью, и когда Мульке бросили в один из казематов березинской твердыни, он очень скоро понял, что от любви до смерти один шаг. Если бы Мульке был грамотный, он бы подписался под тем, что спустя много лет написал его товарищ по каземату: «Спать мы ложились кучей, чтобы согреть телами один другого, и ночью копошились, как муравьи. Те, кто попал в подниз, прижатые к холодному цементному полу, больше не вставали. Находящиеся наверху болели воспалением легких, тифом и другими болезнями. Многие больные тифом в бессознательном состоянии кормили своих лежащих товарищей человеческими отбросами, уговаривая их кушать и поправляться».

Рыжему здоровяку Мульке Лапяку удалось ни разу не попасть в подниз, иначе бы его не было на свете, когда через неделю его вдруг вызвал дежурный офицер и сам повел к вы-

¹ Идем (евр.).

ходу из крепости. И когда он вышел, то перво-наперво увидел фаэтон Фроима Каца. Кого он еще мог увидеть, если тот пристал к Мульке, как кашель к хворобе. Дежурный офицер втолкнул Мульке в фаэтон и сам встал на подножку, потому что был из интеллигентной шляхетской семьи и не привык делить сиденье со всякой чернью, тем более — жидовской, тем более из тифозного каземата.

— Гони! — кратко бросил шляхтич, и Фроим погнал своего коня так, как гнал его только один раз в жизни, когда удирал от «зеленых» бандитов. По обеим сторонам дороги стояли огромные клены, между чернеющими стволами тут и там проглядывали тонкие высокие рябины, сохранившие свои яркие оранжево-красные плоды. У ног рябины ветер рвал прямые, с гнутыми головками стебли трехцветной фиалки, названной в народе так мудро и просто: Иван-да-Марья.

Мульке в первый момент решил, что его везут, чтобы пустить в расход. Но при чем здесь Фроим?! Что, у них нет другого транспорта, раз ему, Мульке, оказана честь проехать последнюю дорогу в лакированной старой карете? Но зачем они едут не в ту сторону? Они едут уже по Шоссейной, мимо базара, минуют Пушкинскую и Костельную и сворачивают на Инвалидную. На родной улице человек оживает, как на груди матери, и Мульке вдруг почувствовал какую-то странную сладкую радость. Она ударила в грудь и заставила его бычье сердце набрать бешеный темп. «Куда мы едем, Фроим?» — Мульке не произнес этих слов, но Фроим их услышал. «Мы едем туда, откуда приехали», — Фроим тоже не сказал этих слов, но Мульке его тоже услышал, и в тот же момент он увидел ворота и калитку особняка Казимежа Оскоцкого. Дежурный офицер сказал: «Стоп!», Фроим остановился, Мульке вместе с офицером пошел к калитке, и часовой отдал им честь. И когда калитка открылась и закрылась, Мульке увидел Ольгу. Она сказала несколько слов начальнику караула, тот козырнул двумя пальцами и, повернувшись, быстро ушел туда, откуда появился. И Мульке остался стоять напротив Ольги и стал на минуточку немой, глухой и слепой. Он ничего не слышал, ничего не мог говорить и ничего не видел... Ничего, кроме нее! Сад вокруг ее головы был уложен в две тугие косы, из ее глаз бил огонь, било пламя, теплое, сладкое пламя, а ее высокая белая шея отдавала прохладой, освежала, как вода в пекло.

— Вы поживете несколько дней у меня, пока придете в себя, — сказала она по-русски, и, услышав ее голос, Мульке понял, что он оглох навеки.

XIII

Сейчас вы можете спросить, с чего это ясновельможная паненка Ольга Оскоцкая так вдруг, ни с того ни с сего кинулась спасать какого-то рыжего еврея, которого она-то и видела один

раз, и то мельком. Наивно думать, что можно получить ответ на то, что вообще знать и объяснять невозможно. Можно, на худой конец, предположить, что оживший деревянный ангелочек, слетевший с кровати красного дерева, свил гнездо в сердце хозяйки помимо ее желаний. И это будет очень простой ответ. Судьба готовила Ольге тяжелое испытание, и, не зная, выдержит ли она его, девушка решила на шаг, последствий которого она не предполагала, но все-таки решилась, чтобы потом ни о чем не жалеть и никого не винить.

Отец Ольги, Казимеж Оскоцкий, за несколько дней до описываемых событий оповестил дочь, что пан Пшибыльский, иными словами, тот самый офицер, который, как вы помните, заехал самолично засвидетельствовать свое уважение к полковнику, не прочь посвататься к Ольге. Она пыталась возразить — пан Пшибыльский ей противен, он жалок и заносчив. Отец, словно не слыша ее, сказал, что хорошо знает семью Пшибыльских — самостоятельную, ясновельможную и влиятельную, и что он, папа Ольга, ничего не имеет против, если его дочь примет предложение, когда оно будет сделано. Ольга, зная манеру своего отца выражаться, поняла, что ей сообщается уже принятое и согласованное решение. Ха! Ей, полячке, красавице, гордячке, сообщается уже готовое решение так, будто она какая-то кукла, дурочка и размазня, готовая покрыться испариной от самой мысли о первой брачной ночи. Нет, папочка, ты не знаешь своей дочки! И пан Пшибыльский ошибается, если рассчитывает получить свою жену легко и просто, как заказанный у варшавского жида-портного костюм. И когда папа сказал, что на несколько дней отбудет вместе с паном Пшибыльским в Варшаву, чтобы уладить кое-какие — будто неясно, какие! — вопросы, Ольга решилась на этот самый отчаянный, но самостоятельный шаг. Тот рыжий до красноты здоровяк, под рубашкой которого играли целые горы мышц, а глаза горели будто факелы, тот самый еврей, посмевавший сказать ей пару слов, вдруг пленил ее воображение. Его силу она чувствовала всюду и особенно ночью, в своей спальне, когда тонула в пустой подушечечно-перинной неге... Прошла неделя, и обладатель этой силы заполнил собой, своей терзающей страстью все, что пустовало в спальне польской красавицы Ольги Оскоцкой, даже сердце.

И сейчас, утомленная и разомлевшая от его ласк, она сказала ему уже по-польски...

— Тшеба подзеньковаць нендзнего фурмана... То вшистко дзиенки ниему¹...

— Какое тут дело Фроима, Ольге? — спросил Мульке, туго соображая, о чем она говорит.

— То убоги фурман пильновал мние тши дни².

¹ Ты должен благодарить этого жалкого извозчика... Это все благодаря ему.

² Этот бедный извозчик караулил меня три дня.

— Про чего ты говоришь, Ольге? — не понимал Мульке.

И Ольга рассказала ему все.

— Он тши дни стал коло нашего дома в надзиен, же я выйден, жебы он мугл вшистка повиедзець. Вшистка — о яблках, о тем, як себе били, а ты сен не бронилес, доконд он себе виузол. Слухай далей, коханы. Мне хзон выдаць замонж. По тших днях врути татусь. Ты мусишь пшейсць Березине¹. Я буду ждать тебя, — добавила она по-русски.

— Я тебя не оставлю, Ольге...

— Ты зробишь так, як я повиедзиалем, — сказала Ольга.

Через день к комдиву 8-й Минской стрелковой дивизии Мордвинову в присутствии комиссара Кузьмича привели рыжего парня, который заявил, что хочет к красным.

XIV

Дальше все было так, как сказала Ольга. Когда красные ворвалися в Бобруйск, Мульке, уже весь в красноармейской одежде, прибежал перво-наперво на Инвалидную к особняку пана Оскоцкого, но никого там не застал. Мульке хотел пустить себе пулю в лоб за свою податливость, но, слава богу, тут вмешался ангелочек и подсказал ему побежать к хате Фроима Каца. Его, конечно, дома не оказалось, потому что где это видано, чтобы извозчик прятался, когда на улицах полно пассажиров. Фроим любил, когда в этом мире что-то делается, хотя, как каждый еврей, опасался, чтобы завтра не было еще хуже, чем сегодня. А вчерашний мир не радовал Фроима — своими порядками, завистью, глупостью, хотя его ли, Фроима, это дело — ругать этот ушедший мир, если он, этот мир, сам же больше всех и поплатился.

Мульке встретила Мера, и, увидев ее в окружении целого стада детей, замызганных, раздетых, некормленных, увидев непостижимую нищету фроимовского жилища, в котором ничего не было, кроме черных бревенчатых стен, черного потолка, широкого и пустого стола с длинными скамьями по бокам, Мульке, может быть, впервые осознал, что не зря взял в руки винтовку... Но это была мимолетная, проходящая мысль. Его душила другая мысль — об Ольге, и Мера это поняла. Она подошла к нему, взяла за руку и повела в сарай. В глубине его, укутанная в длинную теплую шаль, сидела Ольга...

¹ Он три дня простоял неподалеку от нашего дома в надежде, что я выйду, чтобы он мог обо всем рассказать. Все — это о яблоках, о том, как тебя били, а ты не сопротивлялся, о том, куда он тебя повез. Слушай дальше, любимый. Меня хотят выдать замуж. Через три дня возвращается папа. Ты должен перебраться через Березину.

² Ты сделаешь так, как я сказала.

Здесь можно было бы поставить точку, если бы, не дай бог, у Мульке не было мамочки по имени Фейге-Шоше по прозвищу Путеранцелиха, и она бы не сказала, что умрет раньше, чем ее Мульке приведет в дом эту гойку. Конечно же, на сторону Путеранцелихи встала половина Инвалидной улицы и кричала на всю улицу:

— Мульке, ты ведь знаешь, о чем говорят наши священные книги?! Книги говорят о том, что даже тогда, когда женщина будет мыться в бане основательно и долго, даже тогда, когда она обольется всеми водами мира, она все же не будет считаться чистой, пока не примет микву. Миква может спасти только еврейскую женщину. А как посмотрит бог на то, что ты будешь спать с нечистой, а, Мульке?

И чтобы узнать, как на это посмотрит бог, Мульке пошел к габе, к реб Ицхоку. И тот ему сказал:

— Сынок, у тебя помрачился рассудок. Да, еврейская девственница из рода Давида родила Иисуса Христа, и он стал чужим богом. Мы, евреи, не можем, не должны оскорблять проповеди Христа, но не можем их принять. Еврей должен быть женат на еврейке, потому что судьба нашего народа в руках у бога, а бог время от времени готовит ему страшные испытания. Муж и жена должны быть готовы разделить одну судьбу...

Одну судьбу разделили Мульке и Ольга, их дети, извозчик Фроим Кац, Мера и их дети — да будет им всем пухом каменный уголь под Каменкой.

НУ, ПИНХУС, НУ...

Все предопределено, но всякому дана свобода воли.

Акиба бен Иосиф
50—132 гг. до н. э.

Пролог

— Ну Пинхус, ну! Чаго ж ты стаишь, як пугала у агародзе! Сбирайся! Быстрей! Быстрей! Немцы ужо у Каменцы! Куда ж ты дзенешься са своей хеврой! Немцы вас усих, як куропаток, перестреляють! Скарей, Пинька, скарей! А ты чаго зирки вылупила, Энтл? Сбирай дзетак и Лэйе таксама и у тялегу сядайте! Ну жа! — Неуклюжий, как медведь, и рыжий, как огонь, Степан тряс Пинхуса Некрича, а тот смотрел на рыжего медведя, как подросток на голую женщину. С пегой кобылы Степана время давно уже обтрясло все яблоки, и теперь ее круп напоминал потертый бараний воротник. В глазах у лошади застыла скорбь. В таких глазах можно прочесть свое будущее.

— Степе, кинь мяне трясти, трасца твоей матери, я ж не перина, с какой трэба скинуть клопов. Куда мы будем ехать? Куда, Степе? Пули у немцев побыстрее, чем твоя лошадь...

Пинхус не договорил, потому что Степан съездил его по морде. Такого удара Пинхус давно не получал, поэтому он отнесся к нему с уважением. А как он должен был к нему относиться? Глупый вопрос! Город горит со всех четырех сторон. Горит небо над городом, краснея от стыда и боли. Горит аэродром, электростанция и мясокомбинат. Ночь с 26 на 27 июня, вакханальная ночь города, облила его пылающей краской беды и позора, и теперь эта ночь настигает каждого, кто не успел за день перебраться через Березину.

Легкие у города насквозь прострелены, и он дышит тяжело, со стоном.

Тяжело дышит колхозник Степан Крупенька из деревни Кацапы, держа за шиворот сапожника Пинхуса Некрича. Вчера, у своего дома, ненароком столкнулся Степан со своим соседом Савкой Алексеенко. Таща за собой кану с керосином, тот шел с паяльной лампой смалить черного борова. Оголив крысиные зубки, Алексеенко вскинул со сморщенного, как прошлогодняя картошка, лба длинные грязно-белые волосы и прокаркал:

— А немцы, браток, уже за ляском. Не сенья-завтра сустрайкай гасцей, рыжий, — и, почесав сухой острый нос, добавил: — Кажуть, у Зубоничах Гитлер уже усих жидов парезал.

— Душагуб ты, Савка, и черт тебе брат. — Степан сплюнул в жаркий песок, и он вскипел, как от пули.

Через полчаса трактором, белым от зноя, Степан гнал свою кобылу в Бобруйск. На рассвете следующего дня, 27 июня, он привез Некричей к своему дому и спрятал их на сеновале. 28-го в Кацапы вошли немцы, 29-го Савка Алексеенко привел немецких автоматчиков к дому Степана Крупеньки.

I

Когда человеку остается жить одну ночь, он успокаивается. Разве ему станет легче, если он будет нервничать? Успокоившись, человек берет эту оставшуюся ночь и начинает ее раскладывать — сначала по часам, потом по минутам, потом по секундам, и такая ночь становится на вес золота. Посчитайте, сколько секунд наберется в ночи, и вы согласитесь, что даже самый последний бедняк в свою последнюю ночь чувствует себя миллионером.

Если вы никогда не были знакомы с такими новоиспеченными миллионерами, то можете с ними познакомиться. Немцы как раз собрали их в черной баньке полицаев Савки Алексеенко. Возле нее взад и вперед вышагивает часовой — в каске, похожей на продавленный ночной горшок, в униформе, грязно-зеленой, как застоявшееся болото, с автоматом через плечо. Автомат напоминает гиену, у которой связаны задние ноги. Она

вытянула свое мерзкое туловище со сросшейся шеей, и живот у нее раздуло так, будто она объелась падали. Солдат болтается сюда-туда, аж смотреть противно, и короткая последняя июньская ночь брезгливо повернулась к нему спиной, распластав над землей неостывшие крылья. Солдату хочется спать, и чтобы не заснуть, он напевает песенку, которую ему пела в детстве мать:

Чудный запах льют гвоздики,
Звезды трепетным огнем,
Словно пчелки золотые,
Блещут в небе голубом.
Меж каштанами белеют
Стены милого жилья.
Слышу звон стеклянной двери,
Милый голос слышу я...

Солдат, конечно, не подозревает, что напевает мелодию на стихи еврея Генриха Гейне, зато он точно знает, что в баньке, которую ему приказано охранять, сидит целый еврейский кагал да еще мужик с бабой. Кагал? Никакого кагала там не видно. Там сидят Пинхус Некрич по прозвищу Ламацэ¹, лапотник-тан-дэтник, его жена Энтл по прозвищу Канарейке, их дети Эле, Иче и Роза, а также их тетка, сестра Энтл, Лэйе по прозвищу Свисток, старая дева, считавшая мужчин грабителями и бандитами, хотя никто из них ее лично не ограбил и теперь она, девственная в свои сорок лет, готовилась к смерти. Так что у часового явно двоилось в глазах, когда он семью Пинхуса Некрича принял за целый еврейский кагал. А что до «мужика с бабой», то у самой двери баньки сидит кацаповский мужик Степан Крупенька по прозвищу Гелер бер² и его жена Степанида без прозвища. Степанида смотрит на мужа, как богоматерь на Иисуса. Взгляд ее зеленых глаз тонет в его рыжих волосах и бороде, и холщовая рубаха Степана мокнет от ее беззвучных морских слез.

— Не трэба плакать, Степанида, не трэба, — тихо говорит Степан, и его огромная ладонь, и по цвету и по рисунку напоминающая вспаханное поле, виновато скользит по колену жены и вздрагивает от бессилия и отчаяния. Так глупо попасться! Словно кряквы, которые приняли отблеск заката за восход и полетели, спасаясь от холодов, не на юг, а на север. Что теперь говорить, что вспоминать глупых птиц... Если несчастье навалится, то никакие кряквы тебе не помогут. Богу так угодно было. Одному богу все подвластно. Все — и смерть, и жизнь, и чудеса всякие... Как это сказано: и по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочтались они, оказалось, что имеет она в чреве от духа святого. С глузду съехал человек, такое навороти Степан, не будет ему прощенья и на том свете. Куда теперь деваться, когда такой грех лег на сердце. А сердце, оно

¹ Старье, старьевщик (евр.).

² Рыжий медведь.

как отстойник: что бы ни натворила наша дурная голова, а расплачивается оно, сердце, в нем оседает наша мука, наша боль, приговор нашего суда. Ни один судья не придумает такой казни, какую казнит сам себя человек, и если бы собака лизнула сердце Степана, она бы отравилась.

II

Вы, конечно, догадались, что все это говорится от имени Степана, и больно все это от него слышать, потому что он ни в чем не виноват, а даже наоборот — самый что ни на есть геройский человек. На таких, как Степан, земля держится, а то, что случилось с ним и Пинхусом, так разве его, Степана, тут вина? Не вина, а беда, косматая и липучая.

В баньке пахло сажей и березовыми вениками. Прибитые к бревнам телячьи шкуры уже успели одеревенеть, под полом скреблись мыши, и дырявый цинковый тазик поскрипывал, будто стонал. Степан много раз парился в этой баньке, и ее хозяин Савка Алексеенко всякий раз сдирал с него бутыль самогону. Это кроме веников и сухих дровишек, которые Степан таскал на себе через всю деревню. Савка Алексеенко незадолго до войны вдруг, схоронив прошлую жизнь свою, стал колхозным бригадиром, выбился, как говорится, из грязи в князи.

Савка Алексеенко носил в душе черную, как ночь, злобу. Она высасывала из него жизнь, как пиявка кровь. До предела ожесточил он свое сердце.

Савке и его брату-близнецу Саньке было по шестнадцати, когда по деревням пронеслась буря коллективизации. Семью Алексеенко она вырвала, как дерево, с корнем.

Какой-то кулак был Семен Алексеенко — отважный боец революции, награжденный боевым орденом? Он дошел с Красной Армией до Крыма, бил белых, умирал за красных, за большевиков, за Ленина — трижды врачи возвращали Семена-Цыгана, так звали его бойцы за черную гриву и смоляные глаза, с того света после ранений, контузий, лез первым в атаку, под пули.

Семен мечтал о куске своей земли — большевики обещали дать и дали, когда он вернулся в свой Ядрин — местечко неподалеку от Бобруйска, где испокон веку батрачили на помещика Алексеенки.

Все — не стало помещиков. Получил Семен землю и вместе с женой и мальчишками рвался на ней, как ни одна лошадь не рвется в меже. И пошло на лад хозяйство, и хлеб появился и сало, и сад разросся. А посреди сада поставил Семен дом — каждое бревно языком вылизывал, рукой гладил, как родное дитя. Рядом с домом, на подворье, гумно выросло, коров завел, поросят, овец, гусей, уток, кур — Семениха по воскресеньям отправлялась в Бобруйск, на базаре у них и свое место было,

и свои евреи были у Семена — аккуратно брали у него превосходный продукт.

Весело бежали лошади Семена из Бобруйска в Ядрин, — они как дом и сени жили, — а в повозке то мануфактуры кусок, то сапоги юхтовые, то хлопцам ватники из черного корта. Росли пацаны вроде в достатке, в школу пошли, хоть к учению пристрастия не проявляли. Зато гнал их отец, не жалея, осенью, в дождь выгонит в поле колоски подбирать, чтоб ни одно зернышко не пропало. А на травяном клину коровы по кругу на цепи ходили — очистят круг, Семен их в следующий переведет, пока сжуют — первый отрастет.

По-хозяйски вел дело Семен.

Первое время писал письма и командирам и красноармейцам, в гости приглашал, а с течением времени адреса порастерял и стала казаться ему былая война кошмарным сном.

В Ядрине ни с кем Алексеенко не дружил. Местечко насквозь еврейское, и коммуны первыми евреи создали. Звали Алексеенко. Он отшучивался:

— Я па-яврейскому хоть и разумею, але думаю по-своему, так што мацнейте без мяне.

Еврейская сельхозкоммуна имени Первого мая и в самом деле из года в год крепчала, а когда пошла по деревням коллективизация, коммуны эту в пример ставили отчаянно несознательным крестьянам, державшимся за свой клочок земли, как младенец за сиську.

Между тем стали подбираться к кулакам. Тут не церемонились: кулак — враг! И Семен Алексеенко в кулаки попал. В один прекрасный день подогнали подводку, посадили в нее Семена с Семенихой, позволили взять в дорогу каравай хлеба и шматок сала и — поминай как звали — в Сибирь. А дом, а сыны?

Всех пристроили. Дом сельсовету отдали, сыновей родня взяла. Савку дядька увез в Кацапы, селянам сказал — сироту привез, Санька остался в Ядрине, у тетки Зинаиды.

Прошел год, и Савка, читая в «Правде» статью Сталина «Головокружение от успехов», кусал до крови губы — от обиды на все то, что погубило, разорило семью, от бессилия выпрямить перегибы, которые свели на тот свет батьку с маткой, не выдержавших сибирской жизни.

«Наш паровоз, вперед лети!»

Понял Савка — обратной дороги у истории нет, как и у жизни. А жизнь была проиграна. На что она ему, парнишке-сироте, так жестоко и несправедливо наказанному. Думал, стонал, искал выход. Не находил. А боль, а обида растекались по душе черным дегтем, чернее того, которым батька заливал втулки колес да смазывал свои юхтовые сапоги, чтобы не трескались.

Искала выход душа Савки. Искала и — нашла.

Однажды, уже поздней осенью, в предзимье, решился Савка податься в Ядрин, прогуляться по родной улице, батькин дом

тянул к себе так, что затылок ломило, до того дня избегал он этого свидания — не мог себя заставить, ноги не шли. А в тот ненастный вечер вдруг потянуло. Само потянуло. И — пошел. Сапоги батьковы надел, принялся — батькой пахли, соленным его потом, кровью.

Савка издали увидел отцовский дом. А когда ближе подошел, месяц грязь, различил на крыше красный сельсоветовский флаг. В окнах тускло светились лампочки Ильича — при батьке свечами обходились. Заходить в дом Савка не стал, рассчитывал — пройдет незаметно, согреется взглядом и — домой. Но судьбу не обойдешь — едва Савка сравнялся с дверями, как они распахнулись и из них вышел председатель сельсовета. Савка сразу узнал горбоносое лицо Рахили Лукман. Следом за ней оказалась и вторая начальница — председатель колхоза имени Первого мая Фрада Кацнельсон.

И Савкино сердце, словно пуля, обожгла догадка: так вот кто греет руки на горе его семьи — они, жидовки-гадины! Вторая пуля ударила Савке в голову — мстить! Мстить жидам за их кол-лек-ти-ви-за-цию, мстить! И на душе — изболевшейся и ноющей, стало легче, дышать стало проще — жизнь снова обрела смысл.

Савка понял — когда находишь виновного, никакая беда не страшна.

Так ненавистный Савке мир сузился до лупоглазого, горбоносого лица Рахили Лукман и не менее ярко выраженного иудейского — Фрады Кацнельсон. Так Савка нашел врага, предмет своей ненависти.

И все равно не сразу вгнездилась ненависть в Савкиной душе — в ней еще дотла не выгорели березовые полена той, докоммунной жизни, когда батька брал его с собой на районные праздники, когда посылал к соседям-евреям за примусной иглой, большой редкостью по тем временам. Савка разговаривал с евреями по-еврейски, как все белорусы. Все в семье Алексеенко разговаривали по-еврейски, и, бывало, сделает глупость Савка, отец его по-еврейски пожурит:

— Нарише коп! Пустэ коп!¹

Лет пять назад батька взял Савку на митинг по случаю праздника Октябрьской революции, и они вместе — отец, Санька и он — заехали в еврейскую коммуну, а потом на районную сельхозвыставку, где показывали знаменитого на всю Бобруйскую губернию борова из той же коммуны. Народу съехалось много, а Рахиль Лукман сказала речь.

— Хавейрим!² — сказала она. — Раньше мы жили в бочках, а иначе говоря — в темноте. Сейчас бочки лопнули и мы вылезли наверх. Так да здравствует Кацнельсон Фрада и

¹ Глупая, пустая голова (евр.).

² Товарищи (евр.).

Советская улада!¹ И да здравствует наш коллективный свинячий жеребец! Ура!

Все смеялись и хлопали в ладоши. Савка тоже смеялся. Теперь ему было стыдно за тот глупый смех над глупыми словами жидовки, которую он обязан ненавидеть, которой будет мстить, сколько бы ни прожил на этом жестоком свете. Десять лет копил в сердце ненависть Савка Алексеенко, и когда в Кацапы вошли немцы, он первым надел повязку полицаая. Десять лет гасил Савка свет в своей душе и она потемнела до черноты.

Не мог, не принимал Степан Савкиной злобы. Как бы ни сложилась жизнь, сколько бы горя она ни принесла, человек не станет жить волком. Несладко жилось селянам, горько жилось, пока все по троху попривыкали, а перед самой войной с хлебом полегчало — можно было за ним в Бобруйск съездить, иной раз в городе удавалось и сахарку добыть, и селедку схватить, ежели очередь меньше чем на три километра растягивалась.

Во все времена тяжело жилось кацаповским крестьянам. Степан помнит, как в молодые годы выбирался с батькой на бобруйский базар. Купит батька хлеба буханку, приглядится к купцу, торгующему селедкой, и ходит, ходит волчком вокруг бочки.

— Тебе чего, голодранец? — гаркнет купец.

— Мне бы хвост селедки, да дюжа дарагая яна у тябе, — отвечал Степанов батька.

— Не жид, и без шматка селедки пообедаешь, — смеялся купец.

А селедки Степанову батьке до смерти хочется, ну хоть бы понюхать. И тогда, схитрив, батька как бы невзначай ронял свою буханку хлеба в селедочную бочку. Ну конечно, купец его матом покроет и буханку выкинет вон. А батьке только того и надо. Подхватит хлеб, в тряпицу завернет и засветится от счастья: и сам юшки нанюхается, и деткам оставит.

— Ух, юшечники рыжие! — несся вслед голос купца.

III

Стоит ли Степану разменивать свои миллионы на эти воспоминания. Наверное, стоит, раз он их так транжирит. Ему видней. Мысль — не птица, ее в клетку не засадишь. И летают мысли приговоренного к смерти миллионера Степана Крупеньки, и скудеют с каждой секундой его сейфы, и густеет осадок на Степановом сердце. «Ах, Савка, Савка, прибиты мае ножки на дубовой дошцы, а так бы паквитался я с тобой за усе, за усе тое, что ты мне при жицци у морду плявал...» Предал Савка Алексеенко Степана и Степаниду и их евреев, всех предал немцам и из бригадиров в старосты вышел.

Сколько ни думал Степан, а одного понять никак не мог: как можно убивать людей только за то, что появились они на свет

¹ Власть (бел.).

евреями? Степан, сколько ни присматривался к евреям, отличить их от других людей никак не мог. Ну, там нос или глаза жидовские, так и у других людей, скажем у китайцев или негров, тоже есть свои асабливасци. Степан читал Библию, но и она не давала ему ответа: люди как люди. Жили, плодились, воевали, выигрывали войны и проигрывали, их не жалели, але и они во-рагав таксама не жаловали... А когда в рабство попали к египтянам, нашелся мудрый человек — Моисей, спас народ от рабства. Какой народ с рабством может смириться?

Не понимал Степан, откуда идет извечная ненависть к евреям. Не понимал и не принимал ее своим добрым и щедрым сердцем. Так он был скроен, Степан Крупенька. Не потакал подлости, не кривил душой, свои глаза имел, свои уши, свою голову, свою душу.

Вокруг деревни Кацапы лежали непроходимые леса — густые, намешанные из разных деревьев: дубов и грабов, берез и ясеней, осин и тополей. Какая в этих пестрых белорусских лесах особая веселая прелесть! Прелесть многообразия, яркости, праздничности. Прелесть самой жизни. В таких лесах легко дышится, а солнечный луч, пробивающийся в чащу, играет среди стволов, как среди хрустальных граней. Степан любил эти леса за их свет, непокорность и силу. И зверей лесных он знал, и норы каждого изучил. И бывало обидно Степану, когда находил он в лесу остатки волчьей трапезы, или птенца, выброшенного из гнезда кукушкиным подкидышем. Звериный мир жил по своим законам, но он, Степан Крупенька, человек, не мог их воспринять. То, что природа дала зверю, людям не подходит. Потому что человек наделен разумом. Волк зарежет корову или барана, лисица задушит петуха... Жестокий мир леса можно понять. Но принять? Степан давил стон, разрывающий грудь, и Степанида гладила его шершавые узловатые руки, плакала.

Мысль снова приводила Степана к Савке Алексеенко, снова и снова задавал себе Степан колючий, как дрот, вопрос: почему Савка выдал евреев, почему он их так люто ненавидит? А может — не евреи виноваты, а он, Алексеенко, черная душа которого питается человеческой кровью?

IV

Часовой стал драть горло новой песней, и хотя Степан не понимал ни единого слова, мелодия показалась ему какой-то праздничной, вселяющей надежду. Песня вдруг стала остужать боль в горячем сердце Степана.

O Tannenbaum, o Tannenbaum
Wie grün sind deine Blätter.

Над крышей баньки тихо шептались листья клена, и по его стволу часовой выстукивал что-то в такт песне... «Тук-тук-тук-

тук» — и звук этот входил в Степаново сознание совсем из другой жизни, другого времени. В том времени орудовал сапожный молоток и железная лапка, на которую Пинхус насаживал чужой ботинок и с размаху вгонял в подошву десяток острых и колючих гвоздей-тексов.

Степан видел себя на углу Социалистической и Карла Либнехта, как раз в том месте, где держал Пинька Некрич свой гешефт. Можно было умереть со смеху при виде сапожной фабрики этого бобруйского Бати. Наверное, он был среди своих конкурентов, особенно заграничных, самым хитрым экономистом, что ограничил оборудование своей фабрики двумя деревянными табуретками, дырявым зонтом и подставкой для чистки обуви? Может быть, это можно объяснить и тем, что еще с гражданской красногвардеец Пинхус Некрич, занимаясь экспроприацией экспроприаторов, вдолбил себе в голову, что эксплуатировать чужой труд некрасиво, и сам один держал все акции своего процветающего гешефта, и сам же прибивал подметки и набойки, и сам же чистил обувь клиентам, и сам же держал кассу, и сам же платил налоги как кустарь-одиночка, после которых его жена Энтл-Канарейке жаловалась Степану на хорошем русском языке:

— За егонный заработок, Степе, я могу купить дырку от бублика, а на место курочки положить в бульон вот эта фига. — Она показывала кукиш и добавляла, как всегда в рифму: — Сапожник имеет молоток и шилу, а я ляжу скоро в могилу.

Кто-кто, а Степан хорошо знал, какие дивиденды стриг своего гешефта Пинька и как и чем ему удавалось набить пять ртов своих иждивенцев, включая его дорогую швегерн Лэйе-Свисток. Дивиденды были настолько крупные, что Пинхус на ночь нанимался чистить нужники или сторожить чей-то сад, чтобы, не дай бог, его не обобрал голубятник Сенька-Шпундяк со своей компанией бандитов.

Степан кряхтел, стонал от дум, а Пинхус, глядя на него, словно делил с ним воспоминания. Сергей-Шпундяк... А доктор Гипс... Пинхус вспомнил, как водил к глазнику Гипсу Степаниду. Она потом не могла нахвалиться на того «дохтура»... Никто бы не стал спорить со Степанидой — доктор Гипс это был доктор Гипс!

Если на земле когда-нибудь и где-нибудь был окончательно и бесповоротно разрешен национальный вопрос, то это произошло в предвоенные годы на Инвалидной улице Бобруйска.

Все гениальное просто, но имеет свои границы. Интернационализм Инвалидной был безграничен. И основоположником этого замечательного движения был, конечно, доктор Арон Гипс. Даже реб Ицхок любил ставить его в пример.

— Реб Арон Гипс — подлинный сын Израилев, — говсрил габе¹. — Если к нему приходит за помощью еврей, реб Арон по-

¹ Помощник раввина.

звolyет себе говорить с ним по-еврейски. Если приходит русский, реб Арон говорит с ним по-русски. В то время как другие врачи-евреи говорят со всеми больными только по-русски. И мне, как слуге божьему, кажется это не совсем справедливым. Потому что человек может говорить на любом языке и быть человеком.

Доктор Гипс был не только прекрасным врачом. Доктор Гипс не только разговаривал с евреями по-еврейски. Доктор Гипс был еще активным участником социалистического соревнования, пламя которого охватывало все новые и новые области новой жизни.

Даже в синагоге, несмотря на воинствующий консерватизм реб Ицхока, в конце концов появились обязательства молящихся. В обязательствах, в частности, говорилось, что отныне «согласно постановления правления синагоги во время посещения синагоги воспрещается в стенах синагоги всякого рода разговоров, дискуссий, а также болтовни, не несущих характер молитвы...».

Теперь можно себе представить, какие обязательства брали те, кто синагогу не посещал. Что касается доктора Арона Гипса, то он, как основоположник интернационализма на Инвалидной улице, естественно, больше всего налегал на национальный вопрос. Один из первых пунктов его личных обязательств гласил: «Особенно воспитывать в коммунистическом духе своего сына Яшу...»

Доктор Гипс, который хорошо знал, что глаз одинаково устроен у русского и еврея, белоруса и поляка, все свои надежды о бесклассовом коммунистическом обществе сосредоточил на своем сыне Яше. Доктор Гипс не доверял домашним даже сон своего сына. Мать доктора, старая благообразная Кейле, баюкая Яшеньку, набивала ему голову всякими библейскими сказаниями.

— Спи, внучек, спи и засыпай, — пела под нос бабушка, — Ночь имеет три стражи, а наш бог Яхве не спит, в каждой страже бог сидит и ревет как лев и говорит: «Горе сыновьям, за грехи которых я разрушил Иерусалимский храм, дом мой, сжег свой чертог и детей своих рассеял между народами...»

— Мама, какой чертог, какой лев, что ты засоряешь голову мальчика всякими выдумками из Ветхого завета! — возмутился ее сын, доктор Арон Гипс. — До каких пор ты будешь мне портить воспитание, мама? Ты меня извини, но с завтрашнего вечера я сам буду укладывать Яшеньку спать.

И Яша вскоре научился засыпать — нет, не под «Интернационал», чего не было того не было, — Яша научился засыпать под колыбельные песни нового времени, которые заряжали ребенка на ночь бодростью и уверенностью:

Спи, мое дитяtko, глазки закрой!
В нашей стране, где рожден ты, родной,

Дышит свободно и радостно грудь, —
Родине преданным сыном будь!
Верным навеки останься ей
Сердцем своим и жизнью своей!
Спи и не плачь, — дети нашей страны
Плакать, мой сын, никогда не должны!
У советских детей горестей нет,
Советских детей ждет радость и свет.
Царская власть им беды несла —
жизнь полна была горя и зла.
Счастливы в нашей стране они.
Спи, мое дитяtko, спи, усни!

Вторую половину дома, в котором жили Гипсы, занимала семья Хаима Горелика, жестянщика из городской артели «Красный металлист». У Хаима, как у каждого уважающего себя еврея, конечно же были дети. Яша Гипс был их лучшим другом. Разговаривали тогда еврейские дети больше по-еврейски, так, как разговаривали дома. Но однажды, это было накануне зимы 1936 года, восьмилетний Яша пришел к своему отцу и, сверкая умными глазками, спросил:

— Папа, а наш сосед Хаим — еврей? . .

V

С незапамятных времен каждый окрестный гой имел в Бобруйске своего жида, каждый еврей — своего гоя. Сапожник Пинхус Некрич тоже имел своего гоя — кацаповского колхозника Степана Крупеньку.

Степан появлялся в заваленном тряпьем доме Некрича, неся, как дитя на руках, бутылку сизого самогона, и хозяин, дрожа от восторга, кричал по-русски своей жене:

— Энтеле, к нам пришел Степе, мой друг из Кацапы, дай нам брейт¹!

— Зол дыр хапн а тейт²! — отзывалась Энтл, обладавшая завидным даром на ходу рифмовать любое слово.

— Скажи мне, Степе, за что такой человек, как я, получает на всю жизнь змею, а?

— Жонка у цябе добрая, Пинька, яна тольko з виду змий, — заступался за Энтл Степан.

— Добрая жонка такая ж мецьце³, як добрый царь, — рассуждал Некрич, чокаясь со Степаном.

— Ты цара не трывожь, Пинька, цар, ен богам выбран, — крестился в ответ Степан. — Я табе, Пинька, так скажу: кали чалавек без цара у галаве, ен дурань, а кали без бога у сэрцы, ен злодзей . . .

Захмелев, они пели — каждый свою песню.

¹ Хлеб (евр.).

² Что б ты сдох! (евр.).

³ Здесь — в смысле редкость.

Бывший красногвардеец Пинхус тарачил свои медные глаза и, отодвинув ногой табуретку, выдавал неожиданно густым баритоном:

Одной дорогой с Лениным,
С Буденным я держусь.
Я Красной нашей Армией
Гордился и горжусь.

И, заложив под мышки толстые пальцы, начинал приплясывать, смешно припадая на кривую ногу. Подкрашенный и зажженный изнутри самогоном, Степан пускался вслед за Пинхусом вприсядку, выкрикивая:

Чаму, верабейка, ды не жэнішся?
Прыдзе пара — дзе ты дзенешся?
Ды мне у гэтым бары да пары няма:
Узяу бы сінічку — дык сястрычка мая,
Узяу бы зязюльку — у яе бацькі няма,
Узяу бы варону — у яе нос даўгі...

Степан вспомнил, как впервые присел у Пинхусова гешефта и протянул подлатать Степанидовы валенки — они ей еще от прабабушки достались. Подлатал их Пинхус, а Степан за пазуху полез медь выгребать из тряпки, чтоб расплатиться. Но Пинька вдруг руку его перехватил:

— Мне гроши не трэба. Мне твоя борода трэба. Мой командир также рыжий был, как сонца. Его беляки зарубили под Глуском.

— Тады бяри прадукт, яки ёсць, — сказал Степан и положил на Пинькин верстак кусок сала.

— Амхо!¹ — воскликнул Пинхус. — Когда так, так давай ко мне домой. Магарыч мой, сала твая. Амхо!

С того дня по воскресеньям, сбыв на базаре продукты, Степан примащивался на корточках у ворот сапожной фабрики Пинхуса Некрича и наблюдал, как ловко скачут вокруг чужого сношенного ботинка его маленькие в черных рывтинах руки.

Сапожник — это молоток, а раз молоток, то и дратва, а раз дратва, то и шило. А шило у Пинхуса Некрича было особенное. С длинным стальным жалом, с отполированной деревянной ручкой. И владел Пинхус шилом не хуже, чем кавалерист клинком. Зеленые глаза Степана темнели от восхищения, когда Пинхус, схватив шило за отполированный деревянный эфес, с размаху всаживал в кожу длинный стальной язык и вытаскивал его уже вместе с иглой и заправленной в нее дратвой. Губы Пинхуса при этом выделявали такие фокусы, что Степан хватался за живот:

— Гэтаким шилом и кабана убить можна!

¹ Дословно: мой народ. Употребляется и как восклицание.

— Можно, когда надо, Степе. Але мы свинину не потребляем...

Память — не вода, которую можно выплеснуть из ведра. Память Степана, крепкая, как коровий рог, бодается и колется. Увидев однажды Пинхуса, этого изъеденного трудом человека, Степан понял, что есть люди, которым живется еще слаще, чем ему самому, разве что Савка Алексеенко тут вдобавок в душу не плюнет. Хотя, с другой стороны, была бы добрая душа, а кому плюнуть в нее, всегда найдется.

А добрая душа к доброй тянется. Как солнце к земле. Тянуло Степана Крупеньку к Пинхусу Некричу необъяснимо и неодолимо. Может, потому и тянуло, что испокон веков деревня жалась к городу, город покровительствовал деревне, как старший брат младшему, хотя дело было не столько в возрасте, сколько в соотношении тьмы и света. Для деревни город всегда был всезнайкой уже только потому, что был городом, и, наоборот, для городских сновов, вроде нищего сапожника Пинхуса Некрича, деревня была деревней, которая должна быть счастлива, раз он, городской щеголь с голой задницей, обратил на нее свое высококультурное внимание.

По всей видимости, дружба кацаповского крестьянина Степана Крупеньки и бобруйского сапожника Пинхуса Некрича была скорее данью старому, чем свидетельством нового, задумавшего с помощью смычки стереть вековую разницу между городом и деревней.

Музыкальное слово «смычка» имело такое же отношение к скрипичному смычку, как филактерии¹ к филармонии. Смычка фальшивила и издавала звуки, напоминавшие стрельбу. Смычка спешила вырвать корни, которые ей казались прогнившими и ненужными, а на деле оказались железными, проросшими в недоступную глубину земли и в дремучую даль времен.

Попробуйте выкорчевать пень, и вы узнаете, как глубоко сидят его корни. В те далекие тридцатые годы, ломавшие жизнь, как буря ломает вековые деревья, люди жались друг к другу, будто выводок слепых кутят, у которых отняли суку.

VI

Чужая речь за банькой прервала ход Степановых воспоминаний.

Он прислушался к темноте — сменили караул. Тьма стала синеть, и в щели баньки проникла тугая свежесть близкого утра. Из печной трубы тянуло вольным ветром, и он вдруг ударил в лицо Степана упругой живой волной, и мозг его заработал четко и ясно, как после долгого и крепкого сна. Труба пела ветром, как в ту ночь, когда его разбудила Степанида, встревоженная здоровьем Рыжули... Степан вздрогнул, дрогнули ры-

¹ Обрядовые кубики, которые надевает молящийся еврей.

жие усы Степана, запружинилась рыжая его борода, потекла прозрачная зелень его глаз по щекам, залоснилась, глотай ее, пока жив. Ах, Пинька, Пинька, и в свою последнюю ночь не забудет Степан тот день, когда Пинхус говорил с самим господом — еврейским богом. И голос бога запомнил Степан — звонкий и по-человечески знакомый.

...Накануне того дня Степан и Степанида ждали прибавления в семействе. Своих детей бог им не дал, зато их коровка Рыжуля — в Кацапах все были рыжие — и люди, и коровы, — обещала принести теленочка, а может двух — такое с ней уже бывало, и Савка Алексеенко наложил тогда на Степку добавочную контрибуцию, все тем же самогоном, сволота такая.

Рано утром Степанида разбудила мужа, и Степан сразу понял, что с Рыжулей беда приключилась.

— Вось гора якое, вось гора, уставай ты, рыжий петух; нешта с Рыжулей нядобрае. Жвачки не мае, стогне, як маладица неразумная. Уставай, нешта трэба рабiць, — и Степанида истоиво крестилась, повторяя: «и се, я с вами во всед дни до скончания века... И се, я с вами».

Что мог сделать Степан? Степан мог надеть свои стоптанные лапты и податься в город, до которого всего-то и полсотни верст, к своему другу Пиньке — Пинхусу Некричу.

Когда Степан явился к Некричам посреди недели, даже у Канарейке отвисла челюсть.

— Пине, — заговорила она по-русски, тормоша своего мужа, — вот пришла Степе. Гелер бер. Устань! Золст верн тэйб, ви ду херст!¹ У меня, Степе, нерв прамиж робрами попал, — пожаловалась Энтл, — а мой муж спит, хоть бы што, как убитый.

— Степе, ты бледный, как мука, — вскочил с постели Пинхус. — Что-нибудь плохо?

— Плохо, Пинька, плохо. Рыжуля мая погибает. Не разрадитсися. Ты бы с богом пагаварыл, Пинька. Авось дал бы совет яки-небудь.

— У бога совета спросить? — Пинхус окончательно проснулся, его ярко-рыжие глаза засветились, словно с них сняли шторы. — А что? Дело говоришь, Степе. Только для храбрости мы с тобой по маленькой пропустим. Энтл, давай на стол, а то наш бог не захочет со мной говорить.

— Не, Пинька. — Степан встал и перекрестился, едва уместаясь в тесной, заваленной тряпьем комнатушке. — Не, Пинька, с богом трэба гаворить цвярозыми. Вось пагаворым, тады присядем за чарку. А табе, Энтл, я курачку принес. Усю араву бульоном напоишь. Жидянятки твае курачку любяць. Хай ядять на

¹ Чтoб ты так оглох, как ты слышишь (евр.).

здоровье. Дык, давай, Пинька, пагаворым, трэба у бога за Рыжюлю прасить.

— Амхо! — весело воскликнул Пинхус. — Сейчас мы все сделаем. Иче, — крикнул Пинхус сыну. — Одна нога здесь, а другая там. Сбегай к тете Рейзл и купи нам вафли «Микада» и конфеты «Барбарис», а себе возьми пирожное за 78 копеек. По-ня? — Пинька перешел на еврейский. — Ун крих афн дах¹, сонца мая.

Иче все понял. Еще не хватало, чтобы Иче не понял. Голова у него варила, как горшок с горохом. Она просто кипела, эта голова, и горошины набухали и лопались в ней, как почки весной.

— А с каким богом мы будем говорить, Степе? — спросил Пинхус. — С твоим или нашим?

— А тебе не усе равна? Абы совет дал.

— Ну, я магу только с нашим, еврейским. Он по-твоему, не дай бог, не понимает.

— Бог усе мовы² ведае, кали ён бог, — серьезно ответил Степан.

— У цябе яврейская галава, Степе, — перешел на белорусский Пинхус.

— Только хутчей давай! Няроуный час, сдохне каровка.

— Ты мяне не тарапи, Степе. Ты думаешь, я магу з богам гаварыць, як з чалавекам? Трэба, как бабы паснули. Бог при их стесняется. А где Иче? Байструк пирожнае скушал, а нам фигу паказывает, сонца мая. Ух, адлупцюю паганца, а зараз пашли на кухню, Степе.

Добрую половину кухни занимала седая от сажи и копоти русская печь. Пинхус отодвинул заслонку из толстого прогоревшего железа и заглянул внутрь. Затем он достал ухват на длинном деревянном шесте и стал один за другим выбирать из печи черные глиняные горшки.

— Все, Степе! Амхо! Цяпер ты мяне крепчей держи, крепчей, а то, не дай бог, забярэ мяне бог да сябе, — с этими словами Пинхус влез в русскую печь так, что только ступни ног торчали из нее. Степан ухватился за них руками, чтобы, чего доброго, Пинька и в самом деле не улетел на небо.

— Гот, ду херст мир?³ — крикнул Пинька задушенным голосом.

— Их гер дир, тате⁴! — донесся из печной трубы звонкий голос бога.

— Чуешь, Степе, бог мяне приймае за свайго батьку, — прошептал Пинхус и громко крикнул богу: — Какой я тебе папа? Я тебя звал ради Степе и его коровы, а ты, видать, пирожнага объелся, негодник! Прости меня, господи, про чего я говорю?

— Пинька, а хiba яврейский бог любить сладкае? — серьезно, не мигая спросил Степан.

¹ И полезай на крышу (евр.).

² Языки (бел.).

³ Бог, ты слышишь меня?

⁴ Я слышу тебя, отец (евр.).

— Еще как. Хиба ты не ведал?

— Ты слышишь, господи, про чего Степе просит? Так скажи слово свое, чтоб теленок был здоровый и Рыжуля также.

— Угу-у-у-у, — донесся голос бога, — угу-у-у, го-го-го-о-о! Каро-о-о-ва-а! Хай живе ка-ро-ов-ва-а-а!

— Слышишь, Степе, что бог говорить: хай живе карова! Генуг! — крикнул Пинхус в трубу и вылез из печи. — Все, Степе, договорились. Бог все сделает. Наш бог — не сапожник. Сказал — сделает.

Через несколько минут на кухне появился Иче, весь в саже и креме, и глаза его сияли, как у котенка.

— Где ты был, поганец, где шлялся, а? — набросился на него отец. — Мы тут с богом уже успели поговорить, а он шляется, бог знает где, сонца мая... А где наша «Микада»?

VII

Степан, словно его подбросили, резко отстранил руку Степаниды, встал во весь свой рост, упершись головой в потолок. Согнувшись, он сделал шаг в сторону свернувшегося ежом на полу Пиньки.

— Пинька, — прошептал он, — Пинька, ты спишь? Да праснишь жа, кульгавый черт, праснишь и давай мне Ичу твайго сюды.

— Ай, Степе, — прохрипел Пинхус, — дай хлопчику выспаться перед смертью. Для чего тебе надо Иче?

— Давай его сюда, кали табе гаворать! — Степан говорил зло и резко.

— Иче, — Пинхус стал тормошить сына. — Вставай, сынок, тебе хочет дать кусок леках «Гелер бер».

Иче проснулся и подполз в темноте к Степану. Тот легко взял его на руки, присел с ним рядом со Степанидой.

— Сынок, Ича, — сказал Степан. — Ты памятуешь, як мы з тваим бацькам гутарыли з яврейским богом? Давай, сынок, яшче пагаварим. Памятуешь, где ты был у тот раз? Вось и зараз ты там павинен быть. И не вылазить, пака я цябе не пазаву. Ну, памятаеш, Ича, сынок, памятаеш? Ну, Ича, ну! Хутчей, хутчей! — Я был, где труба, — признался Иче.

— Вось и добра, — Степан поднялся и в темноте вместе с Иче подполз к печке.

Пинхус вздрогнул, как от удара током. Он все понял, потому что тоже все вспомнил. В каком только классе был тогда его Иче, первый грамотный человек в роду Некричей? Ай, чтоб она была здорова, эта школа — Еврейская неполная средняя школа № 2, которая учила читать и писать его детей. Энтл, правда, сначала упрябилась:

— Мы что, хуже всех, или на нас такой грех, что все нормальные еврейские дети идут в третью школу, а наши — во вторую?

— Энтл, так третья это же русская школа, а наши дети пока что евреи, — отвечал Пинхус. — Но я тебя не переспорю, мы

пойдем к реб Ицхоку за советом. Как он скажет, так и будет. Амхо!

Габе реб Ицхок встретил гостей, словно давно ждал. Он был одет в черные брюки, белую рубашку и черный жилет. Бархатная ермолка на седой голове резко оттеняла белизну волос, высокий, в морщинах лоб. Пейсы¹ свисали, будто бахрома на знамени.

— Человек — это море, в которое впадает река времени, — выслушав Пинхуса, наморщил лоб реб Ицхок. — А река времени, как всякая река, несет в своих благословенных водах и всякие нечистоты. Человек волей-неволей поглощает их, они заражают его ум и сердце, а хуже того — веру.

— Река времени — это вода? — краснея до ушей, задал вопрос Иче.

— Вода! — воскликнул реб Ицхок, по-петушиному вскидывая белую бороду. — Вода! Разве ты можешь пить время, как воду? Река времени — это мудрость наших предков.

— А разве бывает еврейская река? — не унимался мальчик.

— Еврейская река! — Реб Ицхок улыбнулся, разгладил длинные аккуратно подстриженные пейсы. — Еврейская река! Голова у тебя варит, почти как у творца «Шулхан-Арух»². Правильно ты сказал: в общечеловеческий океан впадают большие и малые национальные реки.

— А наша, еврейская, большая? Как наша Березина? — любопытствовал Иче.

— А как бы ты хотел, сынок? — Реб Ицхок придвинул сладости.

— Я-а-а?

— Да, ты, сынок, как бы хотел: чтобы наша еврейская река была широкая и глубокая или узенькая и зловонная, как канава с нечистотами, что вытекает из городской бани? — Глаза старика смотрели на Иче в упор.

— Я-а-а? — он не находил ответа.

— Я подскажу тебе ответ, дитя мое, — сказал реб Ицхок. — Тебе прежде всего хочется, чтобы наша река была чистой и не мелела.

— Реб Ицхок, а в одного человека могут заблудиться две речки? Например, еврейская и белорусская? — вмешался Пинхус. — И не обращайтесь на него внимание. Он всегда любит задавать глупые вопросы направо и налево.

— Советская власть разрешает еврею учиться в любой школе — еврейской, русской, белорусской, Пинхус. — Реб Ицхок стал очень серьезным. — Но еврей должен знать еврейскую историю. А как он будет ее знать, если он не освоит язык и письменность своих предков? Каждый еврей должен изучать

¹ Пряды волос на висках у религиозных евреев.

² «Накрытый стол» — книга раввина И. Каро (1485—1575)

Библию и Талмуд. Через эти мудрые книги и втекает в еврея вечная река мудрости его предков. Мы, евреи, древний народ, а то, что входит в человека тысячелетиями, то, что вносила в нас, евреев, многотысячелетняя река времени, не может уйти за год, десять, сто лет. Но зачем изгонять из человеческого сердца то, что вошло в него за тысячи лет. Мы, евреи, знали всякие времена, — реб Ицхок ходил вокруг стола, время от времени разбрасывая руки, словно раскрывая объятия, — погромщики придумали дело Дрейфуса во Франции и дело Бейлиса в Киеве, устроили резню в Кишиневе. А мы, слава богу, живы и дожили до Советской власти, и теперь у нас такие же права, как у всех. Мы — люди. Но мы евреи. И ты еврей, сынок, хочешь ты того или нет. И это никому не мешает, слава богу. Мы — евреи, наши соседи — белорусы, и мы садимся за один шулхан арух, как друзья. Пусть все цветы цветут под божественным солнцем, дети мои! — патетически закончил реб Ицхок.

У старого слуги божьего были свои мотивы для беспокойства. Те далекие тридцатые годы напоминали вулкан, который проснулся. Ну а на что способен проснувшийся вулкан, рассказывать не надо. Вулканы, к сожалению, не перевелись и в наши дни. И иногда просыпаются тоже. Лава вулканов не любит церемониться и резко меняет ландшафт. В результате вулканической активности в середине тридцатых годов задули новые ветры, и обдуваемые ими евреи стали косо поглядывать на свой родной язык. Вы когда-нибудь видели людей, которым мешал бы язык предков? Кровь, волосы, носы, руки, ноги, не говоря уже о внутренних органах, если они, конечно, не болят, не мешают, а язык мешает. Оказывается, родной язык им перевязал крылья, он их стреножил, как веревка лошадь, которую пускают на ночь пастись на лугу. Сколько веков мотались евреи по свету, подгоняемые, как хлыстом, полосой оседлости и другими царскими милостями, сколько веков свистели над ними свинцовые бури погромов, сколько веков их даже близко не пускали к университетскому порогу, и ничего — язык предков им не мешал... Пришла, слава богу, Советская власть и усадила всех за парты, независимо от расы и нации. И все, натурально, бросились к книге, как голодный к хлебу. И, конечно, евреи тоже проявили неплохой аппетит — открылись еврейские школы, театры, стали выходить книги, газеты, журналы — идиш стал набирать хороший темп, и тут выясняется, что он, этот идиш, еврея больше не устраивает. (Еще до того, как он не устроил тех сталинских чиновников, которые взяли и в один присест закрыли все еврейские школы, а потом и театры.) Настолько, что говорить на нем начинает считаться уделом попрошаек или сумасшедших, или слепых, или глухих, или вообще всяких нищих, которых на Инвалидной хватало на несколько других улиц.

На авансцене, как говорят режиссеры, появляется новый еврей, который считает себя полунинтеллигентом от волос до кон-

чиков ногтей. А эта полуинтеллигентность заключается в том, что ее носитель стал не только учиться выговаривать букву «р». Он стал учиться... разучиваться говорить по-еврейски, зато в сарае у него было на одну свинью больше.

Для пущей полуинтеллигентности этот еврей-хейнке¹ стал неуклюже переименовывать собственные имена и особенно отчества. Парикмахер Рувим бен Калман стал Романом Николаевичем, а мясник Шепсл бен Шимен — Сергеем Семеновичем.

— Рувим, то есть Роман Николаевич, и где ваш сынок, как это говорится, получает грамоту? Неужели во второй?

— Вы мне ставите каблук на больной мозоль, Шепсл, звяняюсь, Сергей Семенович, — отвечал Рувим Николаевич. — Мой Хаимке, я хотел сказать, мой Фимочке, слава всевышнему, в русской школе второй год.

Любимец улицы Ейсеф Кавалерчик говорил своему тестю сапожнику Довиду Финкельштейну, красивому и строгому еврею:

— Довид, не кидай в меня молоток, но дочка нашего соседа Алтера Альштула Симе уже почти замужем.

— И с кем? — спросил Довид.

— С Сергеем Высоцким.

— И уже была хупе?

— Ой, про что ты говоришь! Какая хупе, Довид! Никакой хупе, а один простой ужас: они просто сбросили тряпки и стали жить!

Можно понять влюбленных. Но зачем торопиться там, где можно еще воздержаться? Неужели нельзя овладеть другими языками, не жертвуя языком предков? Куда вы торопились, евреи тридцатых годов? Куда вы так торопились?..

Пинхус решил, что торопиться не надо, и его Иче стал учеником Еврейской неполной средней школы № 2, которая отличалась от всех других школ тем, что в ее исторических деревянных стенах, пропахших мудростью Торы, красноречием талмудистов и ароматами носков меламедов, сидели за партами одни вундеркинды. Все. Без исключения. В их глазах горел голодный блеск, может не столько по граниту науки, сколько по куску черного хлеба. Они шли в школу босиком, в заплатанных-перезаплаченных одеждах, с немывыми ушами и руками, с наголо стриженными головами, и их любимым занятием, особенно во время урока, было ковыряние в носу. Наверное, благородные манеры, которые составной частью входят в материнское молоко, вылепливались ими, когда они были младенцами.

Когда закрыли еврейские школы, еврейские дети оказались вообще без языка. О каком языке могла идти речь, если русскому стал учить учитель еврейского языка Марк Шоломович Роговский? Он тоже был из полуинтеллигентных евреев и некогда учился в столице и даже пел в ешиботе при московской хоральной синагоге. Его отец, Шолом, незадолго до смерти по-

¹ Задавака (евр.).

слал сыну телеграмму: «Возвращайся получишь все золото Шолом». Телеграфистка долго ломала голову над словом «Шолом», и телеграмма стала звучать так: «Возвращайся получишь все золото эшелонем». Натурально, Марка Шоломовича звали в НКВД...

— Тише, дети, не кричите! — На этом запас русских слов у учителя кончался.

Зато после них всегда вскакивал Некрич Иче.

— Чего ты взмошел, Иче? — спрашивал учитель русского языка по-еврейски.

— Вы сказали «Некрич Иче», учитель, я и встал, — и добавлял под ржание класса: — Учитель, спойте лучше что-нибудь, — жалел Иче Марка Шоломовича. И дети это понимали.

И все-таки они были вундеркиндами. Потому что умели то, чего не умели сами родители, — читать и писать.

Едва освоив алфавит, наследники, как бы состязаясь с воинственным духом реб Ицхока, стали употреблять всю свою необузданную энергию на то, чтобы вышибить из родительских мозгов и сердец заскорузлую веру в бога. Незаменимым наглядным пособием огнедышащих атеистов служили номера журнала «Безбожник», который редактировал Емельян Ярославский.

Пинхус, конечно, посещал все школьные концерты. Особенно если в них выступал его старший — Иче.

Концерт открывала рыжая Буня. Не по годам дородная, краснощекая и толстая, она появлялась на авансцене в красной кофте, словно пламя костра, на котором была сожжена Жанна д'Арк. Багровые отсветы ложились на родительские лица, будто лучи заката. Буня начинала выкрикивать слова голосом, напоминавшим дробь барабана:

— Бога не было и нет, это знает целый свет! Это всем давно понятно, даже нашим октябрятам! На следующий номер нашей программы вы получите стих Гр. Градова «Октябрятам» в исполнении первого и второго голоса, а точнее, самых лучших учеников третьего класса Маши Мишкинд и Иче Некрича. Просим папу и маму не кричать в ходе стихотворения. Про-о-шу! — и Буня раздвигала ситцевые занавески.

Насмерть испуганные, стояли на сцене мальчик и девочка, крепко держась за руки. Детское волнение медленно, слишком медленно уходило из их сердец, чтобы уступить место артистическому вдохновению. Буня, исполнявшая роль суфлера, кричала на весь зал из-за кулис: «Прежде ангел сусальный...» Маша и Иче молчали. Буня кричала: «Ну, откройте ваши рты! Прежде ангел сусальный...» Наконец Маша, исполнявшая роль первого голоса, пробуждалась:

Прежде ангел сусальный
С рождественской елки,
Улыбаясь печально,
На детишек смотрел...

Вздвoгнув, как лошадка от удара кнутом, подавал второй го-
лос Иче:

Всюду черти на свете
Стерегут вас, как волки,
Будьте паиньки, дети,
Чтоб черт вас не съел.
Надо слушаться кротко
Всех, кто старше по стажу.
Папа, мама и тетка
Детям богом даны.
Педагогов с катаром
Околоточных даже.
Ведь господь наш недаром
«Пострадал» же за ны.

Первый голос:

Так детишек морочил
С елки ангел небесный...
И чертяками к ночи
Их запугивал зря...
Да, от красной учебы
Стало боженькам тесно...
Ну-ка, ангел, попробуй
Запугать октябрят!

Оба голоса:

Не возьмешь их с нахрапу!
Хуже старших я, что ли?
И родителям прямо
Заявляю я так:
— Буду слушаться папу,
Если был он в партшколе,
Буду слушаться маму,
Если кончит рабфак!¹

Папы и мамы, сгорая от стыда за свою малограмотность и темноту, жевали во рту слово «рабфак», как беззубый черствую корку хлеба. При свете Буниной красноты можно было легко прочесть в их глазах беспомощное раскаяние. Наверное, так чувствуют себя дети, когда их порют публично...

VIII

Ночная птица прошелестела над крышей баньки, и часовой, видать, струхнул, потому что послышалась густая ржавая брань и воздух прорезал одинокий выстрел.

¹ Журнал «Безбожник», 1926 г., № 1.

— Трусить, душагуб, — сказал Степан вслух, продолжая неслышно разбирать топку печки.

А часовой, то ли с испугу, то ли с предрассветного холода, стал тянуть из фляги шнапс. Степан слышал, как он откручивал головку фляги, как булькала жидкость, как крякал от страха и удовольствия немец.

Птица снова ударила крыльями у самой двери, и часовой, приглушенно крикнув, выронил флягу. Она ударилась о порог, и остатки шнапса, булькнув, смочили землю. Степан перекрестился — птица кружила над банькой, и листья клена тихо вздрагивали от касания ее крыльев.

— Наверно, орел, — вздохнул Пинхус. — Или сова, а, Степе?

И в тот же миг пробился в черное окошко синий луч рассвета. Степан, словно ничто не разделяло их, ясно увидел часового, стоявшего на карачках и прикрывшего голову руками.

— Хлусишь, хлопец, кось у цябе тонкая! Эх, зеленый курганок зациснул мой раток. — Весело стало на душе у кацаповского мужика Степана Крупеньки. Сердце забилося буйно, будто в молодости, когда впервые обнял Степаниду и она не отстранилась, а наоборот, прижалась головой к его рыжей груди и застонала, забилась в его объятиях, как пойманная птица. «Пташка, славная птаха, — шептал про себя Степан, — хай будзе миластыня твоя утайне, и гасподь убачить тайнае, воздаст тебе явна...»

Степан уже добрался до входа в печную трубу и, весь высветленный первыми рассветными лучами, крикнул Иче:

— Давай, сынок, хутчей давай! Мы с богом яшчэ раз пагаварым! Давай... Только «Микады» у меня няма на гэты раз...

IX

— Heraus! Juden und Russen! Schneller! Schneller!

Степан открыл глаза, и яркий свет утра ослепил его. Дверь баньки, открытая настежь, раскачивалась в рассветном голубом огне, и дуло автомата, будто голова гадюки с пустым глазом, болталось в дрожащих руках часового.

— Schneller, Juden! Russisches Schwein! Schneller!

Степан вышел последним, по-хозяйски закрыл за собой дверь и, набросив на пробой щеколду, вставил в него для верности деревянную затычку.

Часовой подскочил к Степану, оттолкнул его автоматным прикладом и рванул дверь на себя. Щеколда вырвала деревянный клинок, ударилась о стенку, едва не задев руку часового. Он выругался, заглянул в баньку и, убедившись, что там никого нет, с размаху швырнул дверь. Она плотно легла на свое место, и щеколда, наскочив на пробой, задрожала, постепенно смиряя напряжение.

¹ Быстрей, еврей! Быстрей, русские свиньи! Быстрей! (нем.).

Между тем часовой приказывал обреченным построиться. Он, конечно, знал о кровавом спектакле, который намечалось разыгрывать на бывшей сельсоветской площади.

Фантазия часового была конкретна, как камень, но в построении колонны ему виделся богатый стратегический замысел. Часовому казалось, что если здоровяк Степан первым появится на сельсоветской площади, то он как бы подчеркнет немецкую мощь, покорившую этого рослого и статного мужика, что, безусловно, поднимет настроение солдат и усмирит толпу, которая всегда пасует перед силой, тем более сломавшей другую силу. А хромой еврейчик, замыкающий шествие, тоже не зря его замыкает. Часовой видел в этом факте устрашающую логику — на смену сломленной силе приходит слабость, как смерть — на смену жизни.

Если бы немец знал, во что это ему обойдется, он бы наверняка пересмотрел свои взгляды на военное искусство.

А жить людям оставалось шагов триста. Не больше. Первым шел Степан. Высокий, широкоплечий, в расхристанной холщовой косоворотке и таких же штанах, босой, он ступал тяжело и решительно, и рыжая голова и рыжая борода его сливались в один пылающий факел. Так, наверное, казалось издали. А вблизи лицо Степана с прямым твердым носом и острыми зелеными глазами напоминало ожившую икону. Степан смотрел вперед, почти не мигая, и видел свою деревню словно с высоты. Деревянные срубы под соломенными крышами чернели, как застывшие танки. Улица была пуста. Людей уже согнали к сельсовету, их окружили немецкие мотоциклисты, чей громкий говор долетал обрывочно, словно из зажатого горла. Степанида шла за Степаном шаг в шаг и все норовила прикоснуться к нему, но часовой резко отдергивал ее, тыкая дулом автомата в плечо, крича что-то по-немецки. Очевидно, объяснял, что нарушать порядок он не позволит. Степанида удивительно легко несла свое полное красивое тело, пестрый домотканый сарафан касался щиколоток, а белая ситцевая блузка округло охватывала ее высокую грудь, она вздымалась и падала после каждого шага. Волосы Степаниды были уложены венком. Ах, какие это были волосы! Золотисто-рыжие, тонкие, пахнувшие сыродоем. Степан спиной ощущал бессмертное тепло своей жены и шел на смерть спокойно, как бы сверяя каждый свой шаг с устремленным на него взглядом Степаниды.

За Степаном и Степанидой шла Энтл-Канарейке. Ее белое лицо окружала черная с подсветкой тень. Так бывает среди темной августовской ночи, когда всходит полная луна и ее круг светится во мраке, как лампа. Энтл придерживала рукой Лэйе, которая тихо плакала и спотыкалась, будто ее негнущиеся ноги были высечены из бревен. Часовой всякий раз, когда Энтл помогала Лэйе, хватался за автомат и скрежетал зубами, словно цепная собака при виде чужого человека.

За сестрами шли дети. И как ни старался часовой, они все

равно держались за руки, и их босые ножки погружались в прохладный песок, все более чернея.

— Эле, — тихо спросила Роза у брата, — нас убьют или повесят?

— Наверное, повесят, — отвечал Эле.

— А это страшно? И маму повесят?

— Тише, а то мама услышит. — Эле сжал руку сестры.

— А кто будет жить в нашем доме, Эле?

— Другие люди.

— И спать на моей подушке, да? А к кому будет приезжать в город дядя Степан, когда нас повесят? А за что нас повесят, Эле?

— За то, что мы евреи.

— А дядя Степан тоже еврей? Как папа?

— У папы болит нога, — невпопад ответил Эле, поворачивая голову назад, где ковылял его отец, замыкая колонну.

Часовой шел сбоку и, очевидно, удовлетворенный видом строя, стал напевать свой любимый «Хорст Вессель».

Часовой, подхлестнутый мелодией, вытянулся и, почти не сгибая ног, вышагивал, держа автомат наизготовку, как во время психической атаки. Часовой вступил в тень раскидистого клена и, глотнув свежего воздуха, продолжал пение:

— *Wen Judenblut vom Messer spritzt . . .*¹

Тут он зацепился за кустарник и согнулся, чтобы развести его колючие ветки. Но случилось так, что он вдруг, дико взвизгнув, повернулся искаженным лицом к строю и, кренясь и падая, нажал на затвор автомата. Автомат содрогнулся и, задыхаясь, стал выплевывать горящую слюну, и она прошла Пинхуса снизу доверху. И они рухнули в один миг — часовой и Пинхус. Пинхус — лицом к солнцу. Солдат — лицом в кустарник. Воздух зазвенел, как паутина, в которую попала добыча. Затем на мгновение наступила тишина, и эхо автоматной очереди упало на сельсоветовскую площадь. Летний день, казалось, оделся в ледяной панцирь. В стынущей тишине, беззвучно прошелестев, душа Пинхуса умчалась ввысь.

Степан очнулся первым и сразу увидел между лопатками часового отполированную деревянную ручку Пинхусова сапожного шила.

И тогда резкий скрежет взорвал землю и стал быстро и неумолимо приближаться.

Мотоциклисты мчались к баньке, от которой колонна успела отойти всего-то на какой-то десяток шагов.

... Мотоциклисты стремительно приближались, а обреченные все еще стояли в том порядке, в котором их поставил мертвый часовой. Пинхус лежал с широко раскинутыми руками, перегораживая колонне дорогу назад. И тут взорванная земля вздыбилась, подбросила Степана, и он одним прыжком оказался

¹ И нож обагрится еврейской кровью... (нем.).

рядом с мертвым часовым. Еще через секунду Степан вырвал из его рук автомат.

— Бабы! Дзетки! Лягайте! Хутчей! — крикнул Степан и, упав на землю, дал очередь по мотоциклистам.

Но бабы и дети стояли не шелохнувшись, словно их приварило к земле. И тогда Степан поднялся во весь рост и, стреляя на ходу, пошел навстречу немцам.

И следом за ним, словно все еще находясь во власти команды мертвого часового, пошла колонна. И пули не брали людей. Они шли торжественным, тихим шагом, каким идут на похоронах. Никто из них не знал, где сейчас земля, а где небо. Никто из них не чувствовал ни страха, ни боли. Их сердца стучали звонко и гулко, как весенние громы. С каждым шагом все легче, все раскованнее становились их тела.

Немецкие мотоциклисты остановили свои машины и быстро залегли за коляски. Степан стрелял первый раз в жизни, стрелял не целясь, и пули свистели над головами немцев, растерянных и потрясенных. Виселицы на сельсоветской площади безглазо смотрели издали и досадливо покачивали деревянными перекладинами, как бы сожалея о том, что не приняли на себя тяжесть человеческих тел.

Степан разрядил автомат и, когда он умолк, швырнул его далеко в сторону. Колонна как раз поравнялась с домом Савки Алексеенко, и в этот миг со спины Степана раздался одинокий выстрел. Степан остановился, удивленно, по-детски раскрыл глаза и упал, как дерево, прямой и могучий. Тут из калитки дома вышел хозяин с винтовкой наперевес и, направившись к колонне, командовал:

— Ну, жиды, и ты, рыжая сука, за усе заплотите! — и штыком винтовки стал подгонять женщин и детей.

Степанида, Энтл, Лэйе и дети, казалось, не замечали того, что происходит на земле. Они молча, как вкопанные, стояли между мертвыми Пинхусом и Степаном. Голос Савки разбудил женщин и детей. Степанида, очнувшись, вдруг как тигрица прыгнула на побелевшего Савку. Он легко упал к ее ногам, и она обхватила руками его горло. Энтл, Лэйе и дети кинулись ей помогать. Они вцепились в тощие ноги Савки, кусали его руки, беспомощно дергавшиеся вокруг покато́й спины Степаниды.

И тогда немецкие мотоциклисты нарушили свой нейтралитет и открыли огонь.

Через несколько минут все было кончено. Мотоциклисты с трудом разжали мертвые руки Степаниды на петушиной шее мертвого Савки и в упор дострелили остальных — Энтл, Лэйе, детей.

* * *

— Через окно баньки я все видел... После первого выстрела я вылез из трубы, куда меня спрятал дядька Степан, — закончил свой рассказ мой одноклассник Иче Некрич, которого я случайно встретил осенью 1947 года на бобруйском базаре.



ГОРОД

Евгения ОШУРКОВА родилась в Риге. Окончила инженерно-экономический факультет Рижского института инженеров гражданской авиации.

В 1970 — 1980-е годы Е. Ошурнова — участница и неоднократный лауреат различных фестивалей авторской песни, с исполнением своих песен она выступает перед аудиториями Риги, Москвы, Кишинева, Львова, Куйбышева и других городов страны. Стихи и переводы Е. Ошурновой публиковались в сборнике «Вдохновение» (1979), журналах «Даугава», «Роднин», республиканских газетах.

ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ

Только сделала шаг от фонтанов огня,
Ветви с темной листвой подхватили меня,
И цикад ионических сладостный хор
Сразу сделал уютным прибрежный простор.

Закивали под ветром мне пальм веера:
«Это ночи твои и твои вечера!»
И темнеющий мир мне даруя в удел,
Апельсиновый месяц край моря задел.

И пока догорали в фонтанах лучи,
Чей-то голос с моим перепеллся в ночи —
Это хрустнула ветка в руке у меня,
Словно те же, что я, прошептав имена.

Этот куст, обнимающий плечи мои,
Этот хруст, повторяющий речи мои,
Да глядящие в очи мне эти огни —
Не хочь разбираться, где я, где они...

ШТАМПЫ

Предрассветных небес сизый шелк,
Черный с розовым бархат заката,
И пускай этот образ захватан,
Но приятности все ж не лишен.

Ах, как нравится мне этот штамп,
Окруженный живыми словами!
Жизнь саму со своими правами
Неожиданно чувствуешь там.

Оглянись на крутом вираже —
Этот образ ласкает и лечит.
Замечаешь, становится легче
Оттого, что все было уже.

Оттого, что наш общий полет
Хоть отмечен был рядом падений,
Доказал, что цветы асфоделей
Все равно пробивались сквозь лед.

ГОРОД

Этот город с весной обретает свои права
Каждый грязный сугроб превращать в голубой
ручей,
Зазывать горожан поглядеть, как растет трава,
Подарить их дождем, ибо дождь, как всегда,
ничей.

Как он ночи старается выкрасить в белый цвет!
Но всегда остается для тьмы небольшой зазор.
Если ты на него в этот час поглядишь на свет,
То, как знак водяной, разглядишь потайной узор.

Он мосты выгибает навстречу тебе дугой,
Этот город, что пройден тобой вдоль и поперек.
Ты умеешь его понимать, как никто другой,
Откровенья свои для тебя он и приберег.

Этот город с весной обретает свои права
Выбирать одного, кто сумел бы его воспеть.
Как ты пел для него! Находил какие слова!
Долго эху теперь по кварталам пустым лететь...

Быстро стают снега по весне, и не жалко их.
С каждой ночью быстрее отступать начнет
темнота...

Ничего не прибавит к минувшему этот стих,
Да и цель у него, очевидно, совсем не та.

Снова город подхватит весенняя кутерьма.
Я одна не пойму, для чего. Потому что мне
Этот город покажется запертым, как тюрьма,
Ибо даже не знаю, в какой ты сейчас стране.

* * *

Какая жизнь произошла вдоль этих улиц,
Кто здесь неузнанный прошел, слегка сутулясь,
Какие двери открывал, в каких подъездах,
С кем из соседей говорил об их болезнях?

Когда луна в окно грошом сияла медным,
Он представлял, что мир остался неизменным.
От самых юных лет его до самых поздних
Стоят деревья и дома все в тех же позах.

И самому себе отчет отдав едва ли,
Какие образы его одолевали,
Он снова видел те дворы и переулки,
По коим в детстве совершал свои прогулки.

Замедлим шаг и разберемся по порядку:
Похоже, здесь снесли торговую палатку,
Где огурцы и помидоры продавали,
Где зеркала им изобилие придавали.

Ах, изобилие прежних лет и прошлых истин,
Откуда путь благими помыслами выслан,
Где набегала жизнь, как слезы на ресницы,
И не догнать ее, и не остановиться . . .

И мы опять с тобой, мой друг, к тому вернулись,
Какая жизнь произошла вдоль этих улиц,
Прошелестела, словно ветер, в цветах и гроздьях,
От самых юношеских лет до самых поздних.

* * *

Апельсин, разделенный на дольки —
Как тропический новый цветок.
Обольщения юга недолги:
С пальцев слизывай сахарный сок.

Обольщения рода другого
Ту же сладкую вызовут дрожь
Холодком от воды Петергофа,
Что ладонью ко рту поднесешь.

Я люблю, что их нет друг без друга,
Что в одно не сольются они.
Мощью севера прелести юга
Осени, сохрани, заслони!

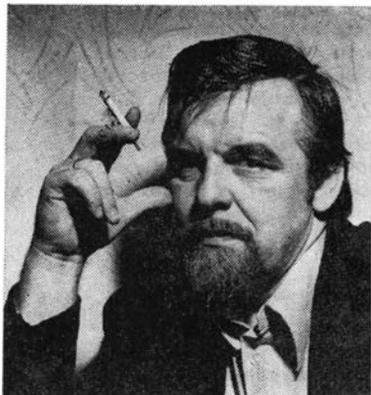
Затопи изразцовые печи
Иль одень соболями скорей
Эти юные руки и плечи . . .
Или лучше в объятьях согрей.

* * *

Прядь волос со лба отбросив,
Глянув из голубизны,
Девочка меня попросит
Снять гитару со стены.
И возникнут, как в начале
Песенных моих рулад,
Те слова, что волновали
Десять лет тому назад.

Распеваю, как бывало,
Хоть и стало убывать
Все, что прежде волновало
И чем можно волновать,
А без этого едва ли
Сыщешь в перечне цитат
Те слова, что волновали
Десять лет тому назад.

Дни тепла прихлились на осень,
Да и эти — сочтены,
Но опять она попросит
Снять гитару со стены.
Песня мимо пролетает.
Это больше не мое . . .
Вот и девочка считает,
Что пою я про нее.



РЫБОЛОВ И МОНУМЕНТ

Рассказ

Перевел Зигфрид ТРЕНКО

Там лещи водились.

И мысль о них не давала ему покоя.

Это из-за них он оседлал тархтящий мопед и попер через болотистый лесок по обочине просеки, изрытой гусеницами трелевочного трактора, в самых топких местах отчаянно нажимая на педали. Но то и дело колебался, не податься ли назад, словно маятник — туда качнется, сюда, а решиться нету сил.

Чем ближе к Черному озеру, тем спокойнее на душе.

Спору нет, лещи и в других озерах есть, и наверняка крупные, как в Лиелупе сразу после войны, но в Черном особенные, таких нигде нет. Берут они в конце июля — начале августа только держись! С хлипким удилищем и близко не подходи! Тут бамбук надобен, да с кончиком в мизинец толщиной! Тутошный лещ зароется мордой в ил и стоит что твоя колода. С места не сдвинешь — хоть коня запрягай. Бельевую веревку в клочья изорвет, коли дашь ему разогнаться. Зато ежели повезет молодца на берег выволочь, не нарадуешься. В Черном что ни лещ — пять кило, не меньше. Распластаешь супостата — одной рыбной вся копильня полна. А сочная! А вкусная! Уж на что угорь деликатес, но и ему далеко до Леща Лещовича.

Андрис КОЛБЕРГ — латышский прозаик и кинодраматург. На русском языке вышли книги: «Три дня на размышление» (1983), «Вдова в январе» (1984), «Человек, который перебежал улицу» (1985). «Тень» (1986). Киносценарии: «Быть лишним», «Подарки по телефону», «Ралли», «Три дня на размышление».

Гости уже приучены: на Якова — в день его именин значит — на столе царит лещ из Черного озера. Дело чести, иначе и праздника нет. Копченые богатыри — украшение стола, а как идут под них рыбацкие байки об английских крючках кованых, о том, как прикармливать зверюгу, насчет поплавок, потяжки и подсечки да вываживанья, а уж когда сам в подсачке барахтается... Вся семья в сборе, Яков выступает гоголем, рот у него не закрывается, все слушают молча, сосредоточенно жуют. У сына аж усы лоснятся от жира, невестка приглядывает за внуками, чтобы рыбьей костью не подавились. Именины на славу, роскошные именины! А тут... Не думал, не гадал, да и какому смертному померещится такое!

— Ты отказываешься ходить на Черное, — с расстановкой сказал сын, — как будто в озеро вылили бочку аммиака. — Толково говорит, недаром дипломированный врач.

Гости в очередной раз пришли на лещей, и нате вам, потчуют их какой-то мелюзгой. И то за ней хозяйину пришлось побегать по окрестным озерам.

— Отказаться от Черного только потому... Смешно это, отец!

— Тебе, конечно, смешно! — дернул головой Яков. Зол он был и на себя за свое суеверие и трусость, и на остальных тоже — зачем перед ними слабинку свою показал. — А я вот не поеду! И точка!

Яков мужик простой, невидный. Укради он что, ни по каким словесным портретам не найдешь. Мужиков, как он, не счесть: днем вкалывают, вечером прилипают к телевизору, по выходным рыбачат и даже одеваются так, что не выделишь в толпе. Кому нравится мелкая рыбешка, на беду еще и усохшая при копчении? Едят, только чтоб его не огорчать.

— Посмотрим на вопрос с медицинской точки зрения, — не унимался сын. — Тот человек умер, так?

Яков кивнул.

— Сколько лет прошло с его смерти?

— Считай, больше тридцати.

— Да в прах он превратился, был да весь вышел! Его жизнь пришла к своему логическому завершению, и если он пока еще всплывает время от времени в наших воспоминаниях, то вскоре его забудут навеки.

— Это верно... Это ты правильно говоришь...

— На языке медиков твое душевное состояние называется «навязчивый бред».

— Это все мелиораторы! Накопали вокруг сточные канавы... Как учуют болото, так в момент туда со своими экскаваторами, и вычерпывают без передыху, и вычерпывают! — забубнил Яков. Нашел на ком сорвать злость. — Ни клюквы теперь, ни...

— И давно на Черном уровень воды колеблется?

— Я ж говорил — с весны. Канавами его с рекой соединили, а по реке — с заливом. Как задует с моря северо-западный, так

уровень в озере на целый метр повышается, а стоит пару дней в сторону моря подуть — на два метра падает! Точь-в-точь как на Бабитес.

— Логика. Как видишь, все элементарно.

— Ну, так.

— Чего ж ты боишься?

— Скажешь еще! Я не боюсь, просто не ходок я туда, и точка!

И не ходил на это озеро. Целый год. До половины июля терпел, еще неделю, но... приближался Яков день, решил: будь что будет. К тому же северо-западный дул не переставая и вода в Черном должна быть высокой, а это, между прочим, для клева не последнее дело.

Под вечер, прихватив полиэтиленовый мешочек с разваренной перловкой для привады, он подался на разведку.

Озеро на месте. Что ему делается. Из высокой воды торчат вершинки низкорослого прибрежного камыша, отмель белопесчаная вся в воде. Вон «кресло» замочило — сосновые корневища, куда он обычно усаживался, насторожив рыболовные снасти.

Может, ничего ТАКОГО и не происходит? Может, все брехня?

Он глянул туда, где обрывался кувшинковый полог.

ТАМ ЭТО ВРОДЕ!

Ремейк тогда их еще поторапливал:

— Давай... давай... взяли... взяли...

Широко расставив ноги, Яков всем телом наваливался на шест, но шест был плохонький, без чурки на конце, увязал в иле — упереться не во что и не оттолкнешься. Наспех сколоченный из восьми неокоренных бревен плот не двигался с места.

— Д-давай, д-давай! — срываясь на крик, командовал Ремейк. И вдруг умоляющим шепотом: — Ну-ка нажмем, ну-ка еще разок...

А бревна-то свежеспиленные, сырые, тяжеленные — осадка и без груза изрядная. Когда они втроем — Яков, Ремейк и лесоруб Юкст — стали затаскивать ЕГО на плот, вроде все было в порядке, но едва оттолкнулись от берега, вода мигом дошла до щиколоток. Яков собрался с последними силами и бросил взгляд на НЕГО. ОН возлежал на спине, почти целиком в воде, кроме лица и козырька фуражки, и стыло взирал на полную ясную луну. Ремейк, оттолкнувшись шестом, завис на миг в воздухе, плот накренился, из воды показались пуговицы ЕГО шинели и тут же скрылись под ровной, оловянно поблескивающей в лунном свете озерной гладью.

Якову было почудилось удивление на ЕГО грозном лице — так мог бы недоумевать зодчий, воздвигнувший монументальное, рассчитанное до мелочей, вечное, стабильное и надежное сооружение, от которого по завершении строительства остались одни руины. Но затем увидел Яков на ЕГО лице и другое — плохо скрытое торжество: «Погодите — я буду отомщен. Мною

посеянное, — змеилось на ЕГО губах, — неискоренимо! Неподвластно ни огню, ни воде, ни времени!»

Якова дрожь пробрала, он едва не выронил шест, голос Ремейка — взяли! — доносился словно с дальнего болота.

«Я ведь мог сказаться больным! Или как-нибудь отговориться... Трос запропастился, а куда не знаю — поищите другого тракториста... Объяви Ремейк сразу в чем дело, нашлась бы причина... В другой раз... Глупости, другого раза не будет!»

— Давай, давай! — подбадривал их Ремейк. Подталкиваемый тремя шестами, плот нехотя продвигался вперед. Окажись тут случайный прохожий, странная картина открылась бы ему с берега: трое мужиков с шестами, подвернув штанины, стоят едва ли не по колено в недвижимой, мертвой воде и между ними — навзничь — четвертый, почему-то в фуражке.

Скользнули по босым ногам стебли кувшинок. Как пиявки. Они преградили плоту дорогу, забили щели между бревен, закорили его.

— Давай, давай!

— Придется здесь его, — измученно проговорил Юкст. Видно, чувствует то же, что и Яков. Ругает себя, что не сумел увильнуть. Влип, бедняга, по-глупому. Днем лесник велел ему повалить на берегу озера и очистить от сучьев восемь сосен. Сказано — сделано, хотя Юкст и решил, что у начальства в голове помутилось. Мог ли он знать, что поднимут его среди ночи, прикажут захватить с собой железные скобы — сколачивать плот из тех самых бревен. А для чего, кто б догадался. Смекни он, в чем тут штука — сказал бы, нету скоб и баста. Пускай делают что хотят, пускай. Не вляпаться в дерьмо — это главное. Дойдет до суда, миндальничать не станут: велели не велели, а плот ты сколачивал? — на тебе десять лет! скобы давал? — еще пяток! Дурья башка, где ж ты был раньше? Нет чтобы в лесу скрыться — ищи-свищи, он еще провозжатым поперед трактора лез! Теперь-то что, песенка, видать, спета.

— Здесь мелкогато, — возразил Ремейк. — Подальше от кувшинок, там глубже.

Ремейк раскрыл складной нож, опустился на колени и принялся за кувшинки, полосуя по воде лезвием.

— Давай, давай!

Напряглись и продвинулись еще на пару метров.

— Как ЕГО сбросить? — спросил Яков. Попытались приподнять бронзовый торс, но пальцы соскальзывали, тут, на плоту, ЕГО с места не сдвинешь. Видать, напрасны были все усилия. На землю-то в привокзальном сквере свалили, оставив стоять осиротевший постамент. А дальше не выйдет. Хотя из воды выступало только его лицо, все равно перед глазами весь он, неприступный вседержитель, возвышающийся над людьми, монументальный, кругом в позолоте, залитый золотистыми лучами солнца, —

денно и ночью высится, заложив десницу за борт долгополой шинели.

— Взберемся на него, — вполголоса сказал Ремейк. — Плот накренится, и ОН соскользнет в воду.

Балансируя, чтобы не упасть, они влезли ЕМУ на живот и на грудь, но плот стоял, словно впаянный в озеро. Ремейк пошел по туловищу к ступням.

Это произошло вмиг. Плот взмыл носом, мужики попадали в воду, и статуя с мерзким шипением ушла на дно, взбаламутив тучи ила. Ремейк, Яков и Юкст захлебнулись в мутной грязи, а плот вынырнул впереди них.

Взбираясь на него, отплевываясь, они все поглядывали на то место, где еще кипели пузыри, — не верилось, что ЕМУ пришел конец. Воняло тухлятиной — озерный ил в этой курземской округе богат сероводородом.

Перед последним пригорком Яков затормозил. Слез с мопеда и стал заталкивать его в ольховые кусты — мотор в гору не потянет, легче одному дойти.

Озеро, кое-где укрытое белесым туманом, лежало в долине как нарисованное. Солнце еще не взошло, но небо на востоке уже порозовело, свежий ветерок гнал легкую рябь. Да, утром озеро совсем другое, чем в сумерки, ты не просто видишь его — ты чувствуешь, вдыхаешь, сливаешься с ним.

Яков срезал порядочные рогулины для удилиц, наломал сухих веток и устроил себе ложе на сосновых корневищах. Мрачные воспоминания, нахлынувшие на него по дороге, развеялись.

Он разложил удочки, выправил спуск — с лещом нельзя абы как, ему насадку изволь на дно положить, а грузик должен быть чуть повыше, чтобы не касался ила. Это мелочь всякую можешь ловить без огляда, как ни забрось — все путем, а он ведь за лещом сюда прибыл. Поплавки друг за дружкой просвистели в воздухе, плюхнулись в воду метрах в пятнадцати от берега и присмирели, задрав стоймя белые прямые хвосты с красными шишками на концах.

Яков сел и закурил папиросу. Взгляд его мимолетно задержался на поплавках, поблуждал по камышовым заводям — нет, мелюзга еще не проснулась, в воде следов жизни покамест не видно — и остановился наконец на ТОМ САМОМ месте. Но уже не было в этом пристальном взгляде ни страха, ни простого любопытства. ВРОДЕ БЫ ТАМ — голый факт, не больше.

Один из поплавков чуть дрогнул. Неопытный рыболов вряд ли уловил бы то легчайшее движение, но Яков сразу насторожился. «Ясно, к насадке подплыл, задел основную леску. Ишь, ишь... Пузырьки побежали... Совсем рядышком в иле роется... во... во...» Будто через стекло аквариума, видел он в своем воображении широченного леща, который, вытянув губы трубочкой, ищет на озерном дне моллюсков, мелких рачков и водяных насекомых, а там, прямо перед ним, свисает,

касаясь дна, великолепный, дразнящий пучок лиственных червей.

Лишь бы не прошел, не прошел мимо!

Взял!

Поплавок несколько раз дернулся и лег плашмя.

Взял, стервец!

Яков судорожно курнул пару раз, отшвырнул и примял каб-луком изжеванную гильзу. Правда, времени еще достаточно, его величество лещ долго будет сосать и обчмокивать наживку, минуты три, а может, и четыре. Подсекать рано, еще не время, подсечешь — крючок вопьется в губу, а за губу-то слабую нечего и думать вытащить такую махину.

Поплавок вернулся в исходное положение, затем резко ушел под воду сантиметров на пять, вынырнул и снова застыл неподвижно.

«Здоровенный», — удовлетворенно решил Яков и тихонечко встал с «кресла». Именно в этот момент поплавок мерно пошел в глубину.

Подсечка.

Ну будто в колоду!

Трещит, разматываясь, катушка, лещ прет напролом. Сильней тормозить опасно, в момент погубишь снасть. Или крючок сломается.

Передаются через туго натянутую леску могучие удары, это тебе не какая-нибудь шмакодявка — этот трепыхаться с перепугу не станет.

«О-ох!» — на лбу выступили бисеринки пота. Не от жары, конечно, — от волнения.

Замер. Сейчас, значит, рванет, сделает первую попытку освободиться.

«Теперь держись, Яков!»

Когда поединок закончился, солнце уже взошло над деревьями, в приозерном лесу стоял птичий гомон.

Тем временем леску второй удочки успел запутать окунь. Яков распутал ее трясущимися после такой борьбы руками, наживил крючок и забросил рядом с первой... Озеро ожило, вокруг поплавок вела хороводы уклея, охотясь за низко летящей мошкой.

Лещ в садке не то дремал, не то смирился со своей участью — лениво пошевеливал хвостом, двигал жабрами и ничуть не стремился в родные глубины. Время от времени он поворачивался, и тогда Яков мог полюбоваться его медно-золотистыми широкими боками. Бог весть на сколько потянет рыбина, но такой крупный лещ ему давно не попадался. Окунь рядом с ним как муха у коровы на боку. Одно слово — Черное!

К подсачку прилипла чешуйка. Яков отколупнул ее, повертел в пальцах, приложил к спичечному коробку — чешуйка закрыла собой почти всю этикетку. Он аккуратно положил находку в кошелек, в отделение для мелочи — не стыдно будет показать

мужикам, когда зайдет разговор об уловах. Такая победа делает честь даже прославленному полководцу.

Еще клюнуло, потом еще раз. Но это была мерная рыба, в другой раз Яков и такой был бы рад, но теперь она не доставляла ему почти никакого удовольствия, руки еще помнили мощные удары по леске, теперь он жаждал только таких ощущений, презирая мерную рыбу настолько, что не прибежал даже к помощи подсачка, вытаскивая ее из воды: она казалась вдвое меньше своих размеров.

Ближе к завтраку ветер закапризничал и клевать перестало, однако Яков не спешил покидать озеро. Рыболовы склонны верить в удачу, вот он и продолжал гипнотизировать поплавки и привораживать: «Еще одного... Еще такого же...» Первый трофей в садке вяло шевелил хвостом, спина у него, прикинул Яков, по меньшей мере с ладонь толщиной. Нет, такого крупняка у него никогда не было, таких, пожалуй, ему и выдывать не приходилось. Черное озеро! Мир расцвел, былые страхи, теснившие грудь по дороге сюда, казались смешными. События той давно минувшей ночи теперь виделись в каком-то гротесковом свете. Самоуверенный Ремейк, он сам, до смерти перепуганный, и Юкст, безвольно покоровшийся судьбе, словно скотина, что ведут на убой.

— Откройте, откройте! — загрохотали в дверь. Ремейку, верно, казалось, что звонок звучит чересчур слабо в столь ответственный момент, поэтому он стал помогать себе голосом и кулаками.

Яков, выбираясь из кровати и нашаривая в потемках брюки, смекнул, что случилось нечто из ряда вон выходящее, если сам начальник пожаловал к нему среди ночи.

Проснулся и заплакал сынишка в детской кроватке, жена встала, спросонья принялась успокаивать малыша, потом очухалась и тревожно спросила: «Что случилось?»

— Откройте, откройте!

Яков нервозно пожал плечами, откуда ему знать причину ночного прихода начальства. На самом деле он был уверен, что догадывается, зачем пожаловали. Да кто ж не сообразит: какой-нибудь шоферюга прозевал знак объезда и угодил с недостроенного моста прямоком в реку.

— Ну вы и дрыхнете, не добудиться... — Ремейк со всеми был на «вы». — Захватите ключи от гаража! Нам нужен трактор.

«Как пить дать, с моста грохнулся», — снова мелькнуло у Якова.

Они припустили через сады и огороды напрямик к гаражам. Быстро плыли гонимые ветром облака, то закрывая, то открывая круглую луну, чередовались длинные и короткие вспышки света, как будто два парусника в море общались азбукой Морзе. Может, именно из-за луны ночь казалась темнее, чем была на самом деле.



С обеих сторон тропинку обступала высокая росистая осока, и брюки у спешащих намокли до колен, в туфлях хлюпало.

— Куда мы...

— Не задавайте лишних вопросов!

Ремейк забрался в кабину трактора, рядом с Яковым, и кивком указал в сторону вокзала.

— Туда! Трос у вас есть?

— Могу взять...

— Поехали назад! За тросом!

Возле привокзальных насаждений, сбившись в кучку, курили четверо мужчин.

— Можем начинать! — отрапортовал Ремейк, спрыгивая с трактора. Мужчины подошли ближе, и Яков заметил, что один из них в армейской форме.

Ремейк в брезентовых рукавицах хлопотал у троса, Яков не мог взять в толк, идти ли ему на подмогу или оставаться в кабине.

— Надо подъехать ближе... Не достанем... — сказал самый высокий из четверых. Якову доводилось видеть его в исполкоме.

— Подайте назад... — откуда-то сбоку махал рукой Ремейк. — Еще, еще! Стой!

Когда до Якова дошло, для чего нужен трос, он едва не наложил в штаны.

Монумент стоял большой и могучий, как скала, всем своим видом выражая благородное презрение к окружающим. Величайший, мудрейший из мудрейших взирает с высоты своего положения на презренных червяков, недостойных даже беглого взгляда. Памятник был не из тех, которые ставят ради памяти. Не из тех, которые сооружают из уважения к человеку, преклоняясь перед его деяниями и талантом. Он был воздвигнут для запугивания. Лицезрей меня и трепещи! Смотри и вспоминай мои дела! Чтобы ты убоялся кары моей, возмездия моего! Чтобы всегда трепетал от страха, и пусть твой страх и ужас, раболепие твое с молоком матери передаются будущим поколениям, отныне и вечно и во веки веков! Аминь!

Ремейк с долговязым обдумывали, как накинуть истукану на шею тросовую петлю. Они, видимо, решили, что будет достаточно, если долговязый взберется на постамент и встанет рядом со статуей — зацепиться ногой, пожалуй, будет трудновато, но Ремейк его поддержит, чтобы не упал.

Военный притащил откуда-то обшарпанное корыто и прислонил его стоймя к постаменту — получилось что-то вроде ступеньки. Как раз там, где раньше даже по незначительным праздникам складывали охапки цветов и милиция бдела ночами, чтобы их не расшвыряли хулиганы.

Ремейк крепко ухватил долговязого за широкий офицерский ремень, которым были перетянуты галифе из грубого домотканого сукна, и с такой силой рванул парня вверх, что тот в какой-то момент завис на вытянутых руках силача. Подошвы хро-

мовах сапог отчаянно шаркали по отполированному граниту, пытаюсь найти опору. Наконец он зацепился за верхнюю грань постамента и подобрался, чтобы Ремейку легче было поставить его на ноги. Статуя вместе с двумя мужчинами напоминала фрагмент сложной пирамиды в День физкультурника. Только здесь, в отличие от спортсменов, взгромоздившихся друг другу на плечи и застывших в картинных позах, никто не ждал аплодисментов.

Долговязому удалось наконец обнять статую за талию, и он взмахнул рукой, чтобы подали трос, однако тот успел перекрутиться. Все четверо, с перекошенными от натуги лицами, сердито отдуваясь, выворачивали непослушный трос. Брезентовые рукавицы были только у Ремейка, но и они не могли защитить рук от проволочных заусенец. Петлю на голову статуи все-таки накинута. Петля была огромная и свисала на грудь кумира, как лавровый венок победителя.

Длинного спустили с постамента. Вся компания отошла в сторону, вытирали носовыми платками грязные, исцарапанные ладони — тросы, хотя и новенькие, со склада, чистотой не отличались.

— Ну-ка! — скомандовал Ремейк.

Яков слегка подал трактор вперед, трос натянулся. Подсознательно он надеялся, что в последний момент Ремейк или кто-нибудь из этих четверых приказ отменит. Что они бросятся к нему, крича: «Что делаешь! С ума сошел! Мало тебе собственной жизни, своей семьи, нас хочешь под монастырь подвести!»

— Ну, давай же! — устало прикрикнул Ремейк.

Остальные мрачно молчали.

Яков, унимая дрожь, охватившую все тело, медленно включил сцепление и оглянулся.

Трос, звеня, натянулся. И в этот миг яркая луна выступила из-за облака, и Яков увидел ЕГО лицо. ОН ухмылялся. Никогда прежде не было у НЕГО такого выражения, Яков мог в этом поклониться. Он видел это лицо сотни, даже тысячи раз — каждый день по дороге на работу и с работы домой. Раньше на лице под маской высокомерия проступала жестокость, а может быть, скульптору удалось передать отеческую заботу или решимость, или уверенность в своей правоте — кто знает, но все это никак не вязалось с ухмылкой.

Теперь же ОН как бы говорил: «Я вечен!»

Яков помотал головой, словно хотел стряхнуть с себя наваждение, и оглянулся еще раз. Трос натянулся, как звенящая струна.

ОН рассмеялся глухо и громко: «Ха-ха-ха!»

У Якова в глазах потемнело. Он понимал — сейчас произойдет нечто ужасное.

С глухим стуком памятник грохнулся на клумбу.

Когда Яков открыл глаза и посмотрел на НЕГО, от улыбки

не осталось и следа, петля по-прежнему победно висела на шее, а поодаль кучка мужчин рассуждала, как быть дальше.

— Всех дел! — сказал долговязый, и все посмотрели на ЭТОГО, как смотрят на покойника. В их взглядах что-то изменилось; пока памятник стоял на постаменте, они глядели на него иначе, с особой кайкой.

Теперь и до Якова дошло, что это наконец свершилось.

— Урра! Урра! Урра! — завопил он во всю глотку. В одно мгновение, как кандалы каторжника, сбросил он с себя цепенящие душу детские воспоминания, путы ослабли, оковы пали. Нет, ничего страшного в его жизни пока не было, но та жуткая ночь семь лет назад — он еще был несовершеннолетним — неотвязно напоминала, что самое ужасное может стрястись в любую минуту. Та ночь стояла перед глазами.

Надев на себя теплые вещи, обитатели квартиры томились ожиданием в большой комнате. В квартире царил беспорядок, повсюду валялись вещи, до того хранившиеся в закутах, в шкафу или каком-нибудь комоде, какая-то мелочь, о которой домохозяева успели позабыть, вдруг выплывала на поверхность. Теплая одежда и одеяла были уложены в чемоданы, поэтому, когда закапризничала и захныкала маленькая сестренка, ее опустили в голую кроватку, не снимая пальтишка, только сандалии сняли. Они прислушивались к тарахтению мотора каждой проезжавшей мимо машины, обостренным слухом ловили в ночной тишине каждый шорох, страх охватывал их все сильнее. Около полуночи мать не выдержала, взялась прибираться на кухне и подметать комнаты. Это вывело отца из равновесия.

— Прекрати! Пусть подметают те, кто сюда понаедет!

Раньше отец никогда не срывался на крик.

— Пусть знают, что это квартира, а не свинарник! — в тон ему выкрикнула мать.

А дед лишь тяжело хрипел. Он был очень стар и болен и, видимо, понимал, что дальнюю дорогу не осилит.

Под утро забрезжила надежда, что беда обойдет их стороной. И вдруг у парадного остановился грузовик. Надо было видеть, как изменились лица: в один миг осунулись, заострились, состарились. Отец выключил люстру, подошел к окну, отодвинул занавеску и глянул на улицу. Один солдат с винтовкой стоял на тротуаре, другой прыгивал с борта.

Отец обнял мать, она уткнулась ему головой в грудь.

— Только чтоб с детьми не разлучили, — прошептала она.

На лестнице послышался топот шагов, ближе, ближе...

— Нет! — закричала мать.

Стучали к соседям. Настойчиво, деловито, карандашиком. Наверное в другой руке у стучавшего был список.

По соседству жил преподаватель техникума с семьей, недавно тут поселились, их почти никто не знал.

— Это ужасно, — со вздохом созналась потом мать, — но я

радовалась, я ликовала, хотя и понимала, что в любой момент могут приехать за нами, и... ведь я никогда никому не желала зла!

— Яков! — У Ремейка от волнения сдавило горло. — Не надо так, не надо! — и предостерегающе погрозил ему пальцем.

Одернув Якова, Ремейк вернулся к остальным. Обсуждение продолжалось.

— Сюда бы автокран, — рассудительно сказал долговязый.

— Надо было раньше думать! — рассвирепел военный. — Если даже нам удастся погрузить ЕГО в машину... А там? Как вы его снимете и погрузите на плот? Втроем? Будем тащить волоком!

— За голову? По мостовой через весь город? Вы в своем уме?

— Трелевочные сани! — предложил Ремейк. — На них затащим и на плот. Если не сможем с них свалить, пусть идет ко дну со всеми санями! А вы обойдете остальные объекты... Да, когда я вспоминаю, как мы в годы войны... — Ремейк встал рядом с НИМ, и в последней фразе прозвучало нечто похожее на извинение.

— Императоры не выигрывают войн, — усмехнулся военный, поняв, что хочет сказать Ремейк. — Императоры лишь похищают славу генералов.

На трелевочных санях ОН лежал тяжелый, нахмуренный и злой.

Кольеза по булыжникам, полозья высекали снопы искр.

— Да, — сидя в кабине рядом с Яковым, изрекал время от времени Ремейк. — Да... — То ли вспоминалось ему что-то, то ли вторил своим мыслям.

... Вдруг объявились какие-то шальные окуни. Из тех, что пяток на сковородку. Верно, с того конца Черного озера, с топких колышущихся берегов. Сами черные как головешки, да с черными полосами, с пол-ладони всего, а жрут, словно с зимы жили впроголодь. Никакого спасу! На ошметки — все одно хватают! А вытащишь, жабры растопырены, плавники торчат, а крючок в такой заглот, что хоть вспарывай. Одни понизу, другие опять же поверху разбойничают, малька изводят. Ну напасть! Ясное дело, шальные, любую нормальную рыбу летом к девяти утра уже ко сну клонит и возьмет наживку, лишь если упадет ей аккурат на нос.

«Пора домой!» — решил Яков и смотал одну из удочек. С шантрапой пусть мальчишки возятся! Он лещатник, не кто-нибудь!

Большой лещ, видимо понимая, что речь идет о нем, беспокойно задвигался в садке. По правде говоря, домой не хотелось, слишком долго не был Яков на Черном. И к тому же необычную прожорливость окуней можно было истолковать как верный намек на то, что с уходом следует повременить.

Яков одного за другим вытаскивал нескольких окуней и решил было отправляться домой, как вдруг увидел у самой кромки воды — как он не заметил, что уровень озера стал быстро понижаться? — просыпавшиеся перловые крупинки. Набухшие, большие. Окунь-то перловку не едят...

— Попробуем-ка еще разок! — Яков нанизал крупинки на крючок, как бусы.

Грузик, уходя в глубину, заставил поплавок скользить вперед, однако поднять его торчком не смог, потому что сам лег на дно. Яков выбрал снасть, подтянул поплавок книзу, внимательно посмотрел, не сбился ли с крючка перловка, и снова забросил удочку. Охота на леща заставила его забыть о колебаниях уровня воды. Мысленно он видел только крупную рыбину, ощущал ее упругую тяжесть на лесе. Один-то есть, но вот бы еще одного, такого же. И покрупнее. Самую малость, но крупнее.

Так теша себя надеждой и с удовольствием припоминая во всех подробностях борьбу с первым лещом, он вздремнул на солнышке. Кто знает, сколько времени прошло. Разбудил его треск катушечного тормоза. Тормоз был слишком жесткий, и конец удилища, как кнут, хлестал по воде.

Он вскочил, споткнулся, упал на четвереньки, но успел дотянуться до удилища. Еще немного — и удочку затянуло бы в воду, рогулина, на которую она опиралась, соскочила с места и держалась чудом.

Подсечка.

Опять как в колоду.

Леска зигзагами резала воду, на катушечном барабане осталось всего-ничего — видать, громадная рыбина была уже далековато от берега. Он притормозил катушку пальцем — и тотчас грозно зазвенела леска, вот-вот готовая лопнуть. Яков позволил барабану вращаться свободнее, притормаживал осторожно, балансируя на грани между «выдержит?» и «лопнет?».

Через какое-то время рыба заметно ослабела, и Яков смотал несколько метров лески, которую, правда, тут же пришлось отдать снова, но это был знак, что рыбина подустала. Дальше чаша весов начала перевешивать в пользу рыболова, и хотя огромный лещ или карп, черт знает, что там за чудо-юдо, время от времени, хорошенько разогнавшись, мог отмотать метров пять-шесть или десять, однако вскоре снова их отдавал и еще терял пару метров впридачу. Так постепенно и неохотно мерялись они силами, текли минуты, и рыба приближалась к берегу, где стоял Яков с удочкой. Он не взялся бы даже на глазок определить, сколько в этом леще, тот явно не шел ни в какое сравнение с добытыми прежде красавцами. Но одно было совершенно ясно — даже тот богатырь в садке против этого мелочь пузатая. Однажды, еще вдали от берега, чудо-юдо поднялось к самой поверхности, вода всклубилась и в ней мелькнул спинной плавник. Величиной по меньшей мере с малярную щетку, Яков мог в этом поклясться. Может, это был и не спинной

плавник, а хвост, кто же в таком вихре брызг разберет. Но удары по лесе следовали с такой силой, словно ею стреножили лощадь и та, отчаянно брыкаясь, пытается высвободиться.

Пока рыбина бесновалась по открытой воде, Яков мог спокойно стоять на берегу, держа удилице вертикально, но вдруг она развернулась и потянула в кувшинковые заросли. Чтобы не пустить ее туда, Якову пришлось зайти в воду. Там, в траве, рыбина видела свое спасение и рвалась туда со всем отчаянием обреченного существа. Яков зачерпнул воды сперва одним сапогом, потом другим, студеная вода добралась уже до живота, перехватывая дыхание.

Зорко следя за направлением движения лески и изменением угла погружения, Яков делал все, чтобы преодолеть сопротивление рыбы. Главное — не пустить эту зверюгу в травяную заводь. Иначе — пиши пропало. Рыба уже почти достигла зарослей, а он тащил ее, держал, отпускал чуть свободнее и снова натягивал, воюя за каждый сантиметр, но до победы было еще далеко. Будь у него хоть какой-то миг передышки, чтобы оглядеться, он приметил бы среди листьев кувшинок фуражку. Зеленую, осклизлую, покрытую мелкими водорослями и облепленную улитками. Фуражка словно вынырнула на поверхность, отряхиваясь от стеблей.

После неудачной попытки укрыться в зарослях противник ослаб и стал заметно сдавать.

Хотя эта чертова рыбина по-прежнему держалась возле самого дна, ее боковые рывки становились все более куцыми, не было в них уже первоначальной мощи. То ли теряя силы, то ли мучаясь болью, которую причинял ей крючок, рыба время от времени всплывала почти что к самой поверхности, но набок не ложилась — лишь взбурлит вода и снова успокоится, и опять режет озерную рябь крепчайшая капроновая леска. Видимо, у крупных рыб, обычно обитающих в глубинном мраке, верхние слои воды ассоциируются с чем-то жутким, апокалиптическим, как для нас край пропасти или прикосновение к проводам высокого напряжения, поэтому они несмотря ни на что неудержимо рвутся назад в свои илистые глубины, к замшелым камням, обросшим водорослями, и корягам.

— Выдернуть на миг голову из воды... Выдернуть голову... пусть хлебнет воздуху... — спекшимися губами бормотал Яков. Раньше за ним не водилась привычка разговаривать с самим собой.

Он надеялся на испытанный прием лещатников. Рыба, глотнув воздуху, обалдевает, покорно ложится набок и позволяет подвести себя к берегу, где уже наготове подсачек на длинной ручке.

Яков попробовал применить этот прием — раз, другой, третий, но без малейшего успеха. Слишком крупный и сильный попался лещ, вываживать его надо как-то иначе, но как — Яков этого не знал, и наверняка не знал никто на свете. И пусть не

болтают те, кто про все говорит с пафосом: «А вот в старые времена...» В прежние времена рыбы было больше, но не крупнее нынешних, как это видно по таблицам биолога Яниса Слоки, которые он составил на основе археологических находок на стоянках древних латгалов, ливов и литовцев.

И все же силы были неравные, и спустя полчаса Яков наконец увидел свою рыбину. Солнце стояло уже высоко, поднимаемая ветерком рябь затухала в кувшинковых зарослях и щучьей траве, и вода над отмелью была спокойной и прозрачной — видна была галька на дне. Яков, зажимая между ног комель удилица, стоял по грудь в воде.левой рукой он держал удилицу чуть выше верхнего колена, а правой подматывал лесу, подтаскивая рыбу к берегу, или притормаживал катушку, когда рыба устремлялась назад, в глубь озера, или снова пыталась пробиться в кувшинковые джунгли.

Внезапно леса ослабла. «Все! Ушла!» — охнул Яков и тут увидел перед собой свою добычу. Метнувшись сначала прямо на рыболова, на что способны лишь умудренные опытом щуки — они выплывают таким образом блесну, когда натянутая леска уже не сдерживает рывка, — рыбина степенно выплыла из бездонного мрака и предстала во всем великолепии на фоне белопесчаной отмели. Движения леща были усталыми, он вальяжно покачивался в воде, передние плавники, удерживая равновесие, легонько трепетали, из уголка рта тянулась леса — насадку лещ заглотил основательно, свинцовое грузило касалось пульсирующей жаберной крышки. Глубоко впившийся крючок, видимо, парализовал какой-то нерв — «трубка», удлиняющая губы леща, с помощью которой миролюбивая рыба добывает в иле свой скромный корм, свисала наподобие чужеродного тела или протеза. Яков не мог бы сейчас сказать, сколько весит эта рыбина, каковы ее размеры. Он просто остолбенел — такая это была громадина. Когда лещ подплыл поближе, рыболов машинально отступил на несколько шагов, словно ногам его что-то угрожало. Но каков лещ — просто-напросто выплыл на отмель, чтобы поглазеть, с кем это он вынужден бороться в своих владениях. Что, впрочем, полнейшая чепуха.

Рыбина застыла на месте, и секунду-две они изучали друг друга — громадный лещ и старый рыболов. И вдруг померещилось Якову — озерный красавец пришел просить у него пощады. Он даровал бы ему свободу не колеблясь, снял с крючка, если бы это можно было как-нибудь сделать. Можно перерезать леску, но спасения в том нет, а только мучительная смерть от того, что наживка взята взаглот и крючок впился где-то в жаберной области.

Наглядевшись на рыболова, лещ развернулся и ринулся в глубину.

Поединок вспыхнул с новой силой, но уверенность в победе покинула Якова. Вряд ли самая прочная леса выдержит такого гиганта, когда он не по своей воле окажется на мелководье и

примется буйствовать что есть мочи. А если и выдержит — попробуй вытяни его на берег, подсачек маловат, сюда бы гаф, но кто же, идя на леща, берет с собой гаф. Однако борьба это борьба, и прекратить ее ты не в силах, потому что на другом конце связующей нити рыба, а где-то между нею и тобой счастливый случай — поди знай, на чью сторону станет.

Сколько же времени прошло, пока Яков не увидел большую рыбу еще раз? Может, полчаса, а может, час, или, наоборот, несколько минут. Его будто оглушило, и не слышен уже был треск катушки, слух не воспринимал этих звуков, до того он свыкся с ними. А существовали для него только несколько десятков квадратных метров открытой воды там, на дальнем краю отмели, и громадная рыба, которой нельзя позволить скрыться в водорослях, иначе уйдет. И еще была леска, указывающая направление, в котором двигалась рыба, и катушка, которую притормаживать надо со всеми предосторожностями, чтобы леска не лопнула, и в то же время не слишком слабо, в противном случае рыба все-таки уйдет в кувшинковые заросли и обретет в них спасение. Там она вконец запутает леску и сорвется, потому что удилице уже не сумеет погасить инерцию движения. На рубеже травяной заводи должен, обязан был иссякнуть всякий разбег.

Все чаще и чаще лещ всплывал в верхние слои воды — явный признак того, что он утомлен. Яков понимал это и с дрожью в сердце готовился к решительным минутам схватки. Он отнюдь не был убежден в своей победе — слишком уж крупная, мощная попалась ему рыбина — он даже не знал пока, как вытянет ее на берег, ибо удилице у него чересчур длинное, чтобы вываживать рыбу по открытой воде, и поэтому его действия полностью зависели от того, что предпримет рыба, времени на принятие решения будет в обрез, несколько десятых долей секунды — чаша весов явно склонялась в пользу богатыря-леща.

Из воды показался плавник. Замер, сделал петлю и снова замер. Надо тянуть и тянуть. Яков подался назад, вода теперь была ниже пояса, потом стала по колено. Утомленная рыба послушно следовала за ним, но Яков отлично сознавал, что как только она ощутит под собою мель, то рванется прочь с такой силой, что не выдержит даже миллиметровая леска. Прежде чем лещ придет в себя, надо успеть схватить его за жабры. Яков бросил удилице в воду и ухватился за леску. Риск велик, да что придумаешь.

Пятясь, Яков взбаламучивал воду, рыба преспокойно позволяла себя тянуть, словно уснула невзначай, но вдруг метнулась напролом в кувшинки, кувыркаясь при этом подобно язю. От неожиданности Яков только слегка — во всяком случае так ему показалось — придержал леску, и она лопнула, будто хлыстом ударило. А рыба из последних сил продолжала свой бег и выбросилась на илистую отмель возле самого берега.

Старый рыболов по-вратарски прыгнул за нею. Тело его погрузилось в липкий ил, он захлебнул грязной воды, но что это в сравнении со счастьем чувствовать, ощущать, как барахтается под тобой увязший в иле громадный лещ. Узловатые пальцы бережно скользили, ощупывали большую рыбу, наконец он ухватил ее, сунул с двух сторон пальцы под жаберные крышки. Чтобы не наглотаться мутной воды, он повернул голову набок и вдруг увидел... ЕГО. ОН стоял по плечи в воде, бронзовый торс замшел, с фуражки и плеч свешивались скользкие стебли кувшинок, к глазам, ушам и шее налипли ракушки, и все же взгляд ЕГО остался прежним — холодным и беспощадным до предела: «Я вечен!»

Яков сдавленно вскрикнул.

— Давай, давай! — подгонял их Ремейк. Но бревна, из которых сколочен плот, свежесрубленные, сырые, тяжеленные.

«Я же мог сказаться больным и остаться в постели! Нашли бы другого тракториста!»

Сестренку укладывают спать прямо в пальто, только сандали сняли...

Возле дома тормозит грузовик. Отец выключает люстру, подходит к окну, отодвигает занавеску и глядит на улицу. Один солдат с винтовкой стоит на тротуаре, другой спрыгивает с борта...

— Нет! — вскрикивает мать...

Яков привстал на четвереньки и огляделся, как бы не веря собственным глазам.

— Ха-ха-ха! — гулко и раскатисто рассмеялся ОН.

Яков вскочил и опрометью кинулся прочь, через просеку, в болото, без оглядки.

На следующий день сын явился за его вещичками. Свои «Жигули» он оставил у лесоруба Юкста — дальше было не проехать. Забрав садок, сумку и удочки Якова, он долго смотрел, ухмыляясь, на кувшинковые заросли. ВРОДЕ БЫ ТАМ, но вот досада — за ночь ветер переменился, и он не смог удовлетворить свое любопытство и увидеть то, что жаждал увидеть.

А осенью Черное озеро выбросило на берег громадного леща — всем окрестным жителям в диковину. Из уголка рыбьего рта свисал обрывок лески со свинцовым грузилом. Когда вороны и сороки клевали рыбину, грузило билось о жаберную крышку.

Виктор ИЛЬИН,
кандидат философских наук

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

Констатация того, что современная социальная теория (обществоведение, философия) продолжительное время влачила жалкое существование, сегодня никого не устраивает, поскольку наше общественное сознание воспринимает это как общее место. Однако что, собственно, подразумевается, когда говорится: «нет социальной теории»?

Очевидно, не недостаток трудов, не отсутствие авторов. И то и другое есть. В избытке. Тогда откуда неудовлетворенность? Не проистекает ли она из того, что при всей разбросанности социальной теории в ней нет какого-то определяющего жизненного начала? Достаточно задать этот вопрос, чтобы получить требуемый ответ: действительно, современной социальной теории не хватает реализма.

Суть дела в утрате связи теории с реальностью, засилье в ней пережиточных и заемных форм, несамостоятельности, неприязательности, порождаемых догматическим убеждением, будто все капитальные социально-философские вопросы, когда бы то ни было стоявшие перед человечеством, уже разрешены классиками. Так что остается лишь следовать, придерживаться, повторять, иллюстрировать. Отсюда беспросветная вторичность, безыдейное комментаторство, возведенные в ранг своеобразного творческого кредо теоретической деятельности. Удивительно, какую в сущности ничтожную роль отводили социальной философии в нашем обществе!

Говоря об этом, не следует забывать, что при социализме, в условиях которого общественное развитие идет сознательно, издержки теории влекут практические последствия. Поэтому, сводя теорию лишь к иллюстрированию вечных и общих истин, придавая ей совершенно приказное, казенное значение, мы обрекали на неподвижность и саму действительность. Как это могло случиться?

Ответ на этот вопрос кроется в тесном переплетении причин, понятие о которых можно получить, вникая в природу некоторых характерных особенностей нашей прошлой теории и практики.

ДОГМАТИЗМ

На поверхности апатия, лень мысли, ее неспособность и нежелание отталкиваться от твердой почвы реальности. Однако это лишь поверхностное истолкование. Ибо констатация «догматизм — окостеневшее сознание, живущее прошлым» феноменологична; она лишена объяснительных функций.

В фундаменте догматизма всегда лежит авторитаризм, монополия на мировидение и мировосприятие. Поскольку подобные вещи инородны науке — предприятию гибкому, демократическому — их истолкование предполагает выход в околонульную сферу: фиксация истоков догматизма невозможна без учета множества воздействующих на науку внешних факторов, при известном

стечении обстоятельств догматизм конституирующих.

Чтобы не рассуждать о ситуациях предполагаемых, выведем анализ в реально-историческую плоскость. Зададимся вопросом: в чем причины неудовлетворительного состояния нашей науки; почему уровень философии, как и обществоведения в целом, весьма далек от желательного?

а) Развитие философии как ядра идеологии реализовалось в социально-политических институтах. Однако, будучи охвачены стагнацией, в недавнее время они не стимулировали серьезные исследования. В ситуации интеллектуального застоя, господства авторитарного мышления, нацеленного на поддержание *status quo*¹, из философии выхолащивался дух поиска, процветали комментаторство, некритическая апологетика официальных документов и мнений.

В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что прогресс философии невозможен без реального спроса на высокопрофессиональный глубокий анализ. И поэтому предстоит исследовать, и исследовать во всей полноте, конкретные обстоятельства нашей жизни, чтобы полнее раскрыть природу негативных явлений, блокировавших развитие философии, которые имели место в прошлом.

б) Партийность философии рассматривалась залогом научности. Отсюда вопросы о научности философии не могут быть решены вне оценки, насколько они соответствуют партийно-идеологическим установкам, насколько они отражают реальное положение дел, соответствуют существу момента. Надо сказать, что философская теория испытывала пресс далеко не лучшей идеологии, имея в виду наличие в ней элементов консерватизма и тоталитаризма.

В основе последних — отказ от вариантного мышления, что на первых порах объяснялось особенностями строительства социализма в одной стране в условиях враждебного окружения. Всякого рода вариации — отклонения от «генеральной» линии расценивались как уклон, ибо «кто не с нами (с кем?), тот против нас». Подобный образ мысли и действия если и поддается оправданию (при тщательнейшей оценке обстоятельств), то лишь для ограниченного

¹ Существующее положение (лат.)

интервала истории; в любом случае это не может быть нормой. Однако изменение ситуации не повлекло трансформации ни практики, ни идеологии. Формальный характер демократии, отсутствие гласности, критики в сочетании с установкой на монолитность (своеобразно понимаемую, как будто монолитность исключает свободу мнений) обернулись монопольностью — бесконтрольностью, обязательностью отдельных мнений. В итоге — утрата веры в цену собственного взгляда, предрешенность или лучше — опустошенность теории, безоглядное туселовие, которое есть форма творческой беспомощности. Да и могло ли быть иначе, когда одни властно вещали, а другие смиренно внимали, когда не было спроса на выработку собственных мыслей, а был спрос на отстаивание чужих мыслей.

Некогда В. Шкловский ввел понятие гамбургского счета, означающего неподвластность конечной оценки произведения веяниям конъюнктуры. На наш взгляд, существует универсальный закон гамбургского счета, выходящий за рамки литературы. Закон ответственной интеллектуальной деятельности, по которому соображения истины не заслоняются никакими иными соображениями. В соответствии с этим, привлекая слог Евангелия, скажем, что не всякий говорящий «господи, господи!» — войдет в царство небесное.

Чтобы справиться с застоєм в науке, культуре, духовной жизни в целом, необходимо развивать основанную на законе гамбургского счета подлинную интеллигентность, под которой Маркс понимал способность проявлять свободу духа, защищающего правое дело, в ущерб своему очагу.

АКСИМАТИЗМ

Смыкаясь с догматизмом, он обладает характерной чертой, для которой типично двойное стремление: избегать ставить проблемы в области общих истин и искать ответы на частные вопросы в прямом их (истин) логическом развитии. Перед нами не бережное, охранное отношение к истине, а игнорирование ее конкретно исторического статуса, неоправданное ее преувеличение, распространение за пределы ее действитель-

ной применимости. Результат — подмена истины набором банальностей, давно доказанного.

Принадлежность к философии марксизма, однако, обеспечивается не повторением общеизвестных формул, а творческим отношением к теории, обобщающей наличный опыт. Если бы философы судили о проблемах общества не по текстам, а исходя из реальности, это бы застраховало от узких мест не только теорию, но и практику.

Салтыков-Щедрин замечал: «Каким образом русский писатель приступит к созданию общественного романа, когда он на каждом шагу должен сдерживаться и фальшивить, когда он ежеминутно должен напоминать себе: туда не заглядывай, о том не моги говорить и т. д.».

Не сходной ли до недавнего времени была ситуация в философии? У приобщающегося к ней складывалось впечатление, будто любые вопросы теории решаются лишь путем привлечения классического наследия, сосредоточивающего всю полноту истины. Отсюда тезис оригинального развития марксистской философии буквально повисал в воздухе.

Исправлению положения дел способствует критицизм, который не допускает догматизации любого наследия и который в силу этого является гарантом нового слова. Критицизм — тот же демократизм, от которого мы отвыкли. Отвыкали, потому что привыкали к тому, к чему привыкать нельзя. В науке, как и в жизни, не должно быть свободных от критики заповедных зон. И это должно быть императивом ищущей философской мысли.

УТОПИЗМ

Это — разновидность несогласующегося с действительностью нереалистического сознания. Утопизм, следовательно, проистекает из неорганичной, предвзятой теоретической оценки действительности, искажающей логику бытия.

Особенно опасен действующий на основе утопии революционно-практический романтизм, идущий к жизни от заранее обозначенного идеала. Переходя от последнего к реальности, он частично или полностью взры-

вает существующий порядок вещей, стремясь приблизить достигнутый уровень общественных отношений, практики (эмпирию) к декларированному идеалу. В преждевременных потугах видоизменить действительность — беда и вина утопического революционно-практического романтизма.

Теория, руководствующаяся лишь априорным идеалом, естественно обречена на провал. В этом отношении идейные судьбы утопии во всех ее видах очевидны. Однако много важнее практическая сторона дела.

По мере отрезвления, избавления от утопической дерезализации возникает деморализация — неверие в целесообразность, возможность активных преобразовательных действий в направлении, указываемом теорией. Так преждевременный культ идеала в ближайшем будущем оборачивается бумерангом трудновосполнимых потерь, связанных с дискредитацией идеала; утопия оскорбляет его неподготовленным действием.

Сказанное проясняет, почему утопия не приближает, а удаляет цель, к которой стремится. Не от идеала к жизни, а от жизни к идеалу — единственно верный путь движения.

Здесь трудно удержаться, чтобы не отметить того сугубо отрицательного воздействия на теорию и практику, которое совсем недавно оказали идеологические заблуждения, вызванные забеганием вперед и нереалистическими представлениями о тенденциях развития нашего общества. В их числе — положение о вступлении страны в период развернутого строительства коммунизма, концепция двойственной природы социализма, преувеличение зрелости непосредственно-общественного труда, ставка на уравнительные принципы распределения, третирование товарно-денежных отношений, колхозно-кооперативной собственности и др. Возведенные в ранг аксиоматических инстинкты, эти и иные необоснованные положения и ошибки существенно дезориентировали нашу деятельность.

ВОЛОНТАРИЗМ

Силловые методы воздействия на знание — серьезное извращение

научного строительства — прозрачают на соответствующей социальной почве. Речь идет о явной или скрытой диктатуре в период откровенного культа личности либо завуалированных культуподобных образований в эпоху закрытого общества.

Отвлекаясь от внешних сторон диктатуры с ее патологическими густостями типа разоблачений-уличений («врагов народа»), процессов (процессы космополитов), дел («дело» Лузина), отречений (детей от отцов, учеников от учителей), хунвейбинствующих расправ (использование молодежной среды в проведении лозунга «В деле разоблачения вредителей в науке вызовем на соревнование ОГПУ»), оперативных вмешательств (бригады «скорой помощи» по промылке мозгов «заблудшим ученым»), третирования, травли (поборников генетики, кибернетики, теории резонанса и др.) и прочих «свинцовых мерзостей», сосредоточим внимание на ее сущностной стороне. Нас интересует характер теоретической деятельности в условиях диктаторства.

По мере уничтожения свободомыслия, условий объективного, непредвзятого искания правды происходит расслоение теоретической деятельности, расщепление образа и облика ученого человека *per se*¹. На авансцену выходят две категории работников науки: многочисленные продажные болтуны-балалайкины и сравнительно малочисленная группа неприспособленцев, борьба которых против происходящего в науке приобрела формы ухода из официальной науки (работавший не по специальности Д. С. Лихачев), открытого протеста (Н. И. Вавилов), имитации компромисса («саморазоблачение» Жембрака), эмиграции (Чичибабин).

Все они заслуживают уважения, почтения, безусловного пietetа, как все честные люди, не торгующие совестью. Однако поставленные вне закона, они, к несчастью, не определяли лица науки, которую захлестнула волна пьедестального мышления и идущей рука об руку с ним балалайкинщины.

Балалайкины, апологеты, одописцы выполняют функции «подходящих»

людей, умеющих зависеть от других, вовремя попадать в масть. Они не имеют своего кредо. Их кредо определяется очередной спущенной сверху линией.

Люди («линии»), балалайкины, отлично знают свою роль, с подобострастной предупредительностью «чего изволите» лишь ожидают команды к борьбе за ее (линии) проведение. Приснопамятные Презент, Кольман, Колбановский, Митин — раритеты балалайкинской фарисейской борьбы, не ради истины, а ради победы линии.

Из исторического опыта конъюнктуры, породившей философию «ран и шрамов», необходимо извлечь принципиальные, предметные уроки.

Первый — урок правды. Серьезный анализ не останавливается на полпути, не боится последовательных революционных выводов из научных предпосылок, — правда сама по себе революционна. Однако во время культа, застоя брала верх другая психология: как бы сгладить углы, сказать неполную, некритичную, неревolutionонную правду.

Но поиск по принципу «2 пишем 3 в уме» — низкий. Многие и многие труды по обществознанию, обставленные оговорками, полные оглядок, недомолвок, умолчаний, иначе чем низкими и не назовешь.

Фиксирующая истину научная идея — не партизан. Она должна быть явной, быть полным хозяином положения. Надо говорить все до конца, а не останавливаться у первой версты, вынося за скобки смысл явления, утрачивая стремление дойти до оснований. Задача науки — знать, понимать, оценивать, изменять, а не симулировать развитие теории цитатничеством и заверениями верноподданничества.

Второй урок касается разведения социально-философской теории и текущей политики. Политика должна быть научной, тогда как наука не может быть политиканствующей. Правда, истина не зависят от того, кому они служат.

Философ имеет дело с поиском; он имеет право на ошибку. Политик имеет дело с человеческими судьбами; в той мере, в какой он контролирует ситуацию, права ошибаться он не имеет. В теории в силу неоднозначности истины допустим веер по-

¹ Само по себе, в чистом виде (лат.).

зиций; в политике веер позиций недопустим: возможности здесь изначально ограничены требованием гуманитарной оправданности. (Вспомним Достоевского: вся истина не стоит слезок ребенка.)

Нельзя сводить функции общественознания (философии) к выполнению пропагандистских функций. Философия — вневедомственная и должна быть свободной от давлений извне — некомпетентных вмешательств, бюрократических нажимов, влияний. Только в этом случае она будет идти от реальности, а не от текстов, будет опережать практику, видеть то, что временем сокрыто. Короче — будет выполнять свои прямые функции науки.

Третий урок — едва ли не главный. Действенность философии определяется тем, насколько конкретно, внимательно, объективно разобраны условия момента, уточнены цели и приоритеты. Ничем подобным философская теория прошлого не занималась. Отталкиваясь от голых фраз, она сбивалась на интонации приветственного адреса, присвоения звучных эпитетов, либо занималась раздачей оплеух, навешиванием ярлыков, развенчанием. Горестно и грустно от черно-белой философии прошлого, действующей по формуле «Прасковья мне тетка, а правда мне мать» и ретрогонствующей о золотых горах здесь и армагеддоне там.

Без отказа от двуцветного анализа продвижение вперед невозможно. Взять те же глобальные проблемы. В то время как о них всюду говорили там, здесь их существование... отрицали. Когда же стало невозможным закрывать глаза на очевидное, дали попятный ход, но тут же нашлись, утвердив «застрахованность» социализма от глобальной проблематики. Вот уж действительно лишь бы петух прокукарекал, а там хоть и не рассветай.

Нельзя превращать философию в теорию потемкинских деревень. У них — хищническое природопользование. А у нас? Разве не у нас от бесхозяйственности ежегодно эродируется 100 тысяч гектаров плодородных земель? У них под угрозой Великие озера. А у нас? Какова судьба Байкала, Арала, Севана, Ладоги?.. Не будем продолжать сопоставлений, число которых легко умножить.

Вывод, к которому мы подводим, состоит в необходимости «учитывать живую реальность, точные факты действительности, а не цепляться за теорию вчерашнего дня» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 134). Положение «марксизм не догма, а руководство к действию» должно применяться к самому марксизму. С каждым крупным научным и социальным переворотом марксизм обязан менять свои формы. Отсюда задача философов-марксистов — всестороннее творческое развитие теории в соответствии с требованиями дня, проблемами практики и познания, потребностями социалистического строительства, общечеловеческого прогресса.

Четвертый урок. Успешное развитие науки вообще и философии в особенности обеспечивается высокими идейными, гражданскими качествами ученых. К сожалению, данные качества отличаются далеко не всех философов. «Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хотя бы передумать ее», — говорил Федор Абрамов. Философия переосмысливала мир даже в самые трудные времена. Однако многие наши философы отказались от этого. Философию наводнила отстраненность от жизни, не вдохновляющая на серьезный, нелицеприятный анализ. Все меньше и меньше философов обнаруживало в себе способность думать, как жить, и жить, как думать. Выжидательность, отрешенность не позволяли философии идти в ногу со временем. В массе своей философы доказывали доказанное, проходя мимо уймы реальных проблем. Осмысление сложившихся ситуаций ожидает своего часа. Мы же укажем лишь на утрату гражданственности философской деятельности. Если бы философы руководствовались чувством долга, они куда более эффективно выполняли бы свои социальные и научные функции.

Только один пример. В чем корни идолопоклонства в отношении недавнего высшего должностного лица? Говоря словами Энгельса — во многом в скудоумном эклектизме, боязливой заботе о местечке, вплоть до самого низкого карьеризма.

Это ли пристало философу? Кому, как не ему, понимать, что такое идолопоклонство и чем оно заверша-

ется. Апостольство в науке, политике нетерпимо. Тем более прижизненное. И случай бесславного пятирежды героя лишнее тому подтверждение.

Таким образом, вопрос сильной, творческой философии неотделим от вопроса личной ответственности, гражданской сознательности философа, который должен говорить тогда, когда нужно. Слово — тоже дело. Поэтому главное — выработать у философов иную идейную и гражданскую культуру, чтобы, перифразируя Михаила Чехова, они служили, а не выслуживались, работали, а не зарабатывали, любили живой организм науки, а не мертвую организацию в науке. Нужно работать на историю, а не на конъюнктуру. Именно по этому обо всех судят люди. Ибо если можно ошибиться в прижизненной оценке, то память обмануть нельзя. Каждый философ должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата и его философия. Отсюда гвоздь вопроса — борьба за высокую гражданскую философию.

СУБЪЕКТИВИЗМ

В данном случае мы имеем дело с чисто бюрократическим путем навязывания сверху определенных исторических возможностей.

Как известно, история альтернативна, поливариантна, она таит в себе неоднозначность, проявляемую в целом ряде объективных линий потенциального развития, во множественности средств достижения единых целей. Суть бюрократического подхода — в некритическом вызывании событий общественной жизни без достаточной гарантии того, что объективные обстоятельства для этого вполне созрели.

Участвовать в творении истории, в борьбе за фиксированные тенденции общественного развития необходимо. Однако вмешательство в историю — вещь ответственная. Ответственнойшая. Без всестороннего теоретического обоснования решения в пользу той или иной альтернативы здесь не обойтись. К несчастью, отсутствие научного обеспечения проблемы выбора — факт реальный; с ним мы сталкиваемся в практике построения социалистического общества.

Развитию социализма, как и общества, присуща альтернативность. По какому пути идти? Это вопрос вопросов политической практики и теории. Еще в 1920 г. существовала программа милитаризации труда, широкого применения воинских частей для хозяйственных нужд. Но уже в 1921 г., столкнувшись с серьезным государственным кризисом Советской власти, руководство страны было вынуждено отказаться от этой программы. Политика «военного коммунизма» себя исчерпала.

На смену ей пришел нэп, который означал уступку капитализму, известный отход от социалистических идеалов. Надолго ли?

В отсутствии ясных рецептов в столь непомерно новом деле, как строительство социализма, обсуждались две теоретические возможности. Одна — план Троцкого, делавшего ставку на мировую революцию, помощь индустриально развитого Запада. Другая — план Ленина, исходившего из осуществимости социалистического строительства в одной и притом отсталой крестьянской стране. Поскольку с середины 20-х годов наметилась стабилизация капитализма, надежды на мировую революцию в обозримом будущем опали. Единственно жизнеспособным оказывался план Ленина, который и начал претворяться в действительность.

План этот, предусматривающий решение триединой задачи индустриализации, кооперации, культурной революции, надо сказать, был рассчитан на перспективу. Ибо экономической основой его было оставшее патриархально-мелкотоварное российское крестьянство. Шагнуть же из крестьянской общины в социализм невозможно.

В 1918—1919 гг., оказавшись свидетелем серьезных перегибов в кампании перевода крестьянства на социалистическое хозяйство, Ленин отмечал: «Действовать здесь насильем значит погубить все дело... задача здесь сводится... к тому, чтобы учесть особые условия жизни крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать». Отвергая форсирование социализма в деревне, — «пытаться вводить декретами, узакон-

нениями общественную обработку земли было бы величайшей нелепостью», — Ленин убеждал в необходимости действовать «терпеливо, рядом постепенных переходов, пробуждая сознание трудящейся части крестьянства и идя вперед лишь в меру пробуждения этого сознания». Как видно, Ленин рассчитывал на длительный период — «неопределенный срок», «целую историческую эпоху».

Ничего подобного, однако, на практике реализовано не было. Взятый Сталиным жесткий курс на свертывание нэпа, форсирование коллективизации фактически разрушал, упразднял ленинский план последовательной, постепенной кооперации. Были преданы забвению ленинские политические рекомендации недопустимости нажима, насилия в хозяйственном, организационном строительстве. Принятой формой решения вопросов стали штурмовщина, натиск, усиленное административное регулирование. На отсталую российскую крестьянскую почву сверху привносился социализм. В итоге — мы оказались перед тем, что имеем.

Историю, конечно, нельзя пережить заново. И все же нелишне задуматься: могло ли прошедшее сложиться иначе, была ли неизбежность в осуществлении того, что осуществилось. Разумеется, спустя время рассуждать трудно. Любой отход от свершившегося, которое давит своей объективностью, грозит обвинением в фактивности. Тем не менее мы решаемся на указание иных возможностей, заложенных в ситуации. На вопрос, был ли порядок событий в ходе строительства социализма predetermined, мы отвечаем твердым «нет». Никакой фатальности в построении социализма в СССР именно таким образом не было.

Главное, на что стоит обратить внимание, — тенденциозность в решении судьбоносной проблемы выбора исторического пути социального созидания. Корень ошибок и злоключений, на наш взгляд, в насильственной отмене нэпа — уже начавшей реализовываться общественной возможности и насильственной же культивации социалистических отношений, то есть иной более высокой общественной возможности, которая по тем временам, однако, всесторонне не была подготовлена.

Суть дела, таким образом, в форсировании идеала социализма на практике, отчего имелись сугубые, настоятельные предостережения теории.

Социализм, подчеркивал Ленин, не создается по указаниям сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм. Социализм живой, творческий есть создание народных масс. Народные массы же, по существу, еще не были готовы к собственно социалистическим формам хозяйствования. Именно по этой причине, исходя из фактического положения дел, строительство социалистических трудовых отношений Ленин расценивал как протяженный во времени процесс, подготовленный долгой работой «на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозрасчете». По этой же причине, учитывая неготовность крестьянских масс к совместной трудовой деятельности на базе полного обобществления, Ленин делал ставку на кооперацию, а не на коллективизацию.

Все это тем не менее игнорировал Сталин, взявший курс на коллективизацию.

Различие между кооперацией и коллективизацией в разной степени обобществления: кооперация есть обобществление части, тогда как коллективизация — всех трудовых функций. Между кооперацией и коллективизацией, следовательно, различие существенное. Кооперация как результат живого творчества масс оказывалась добровольной ассоциацией трудящихся. Основанная на личной заинтересованности, она вела к повышению производительности труда, а значит, уровня жизни народа. В противоположность этому коллективизация выступала навязываемой сверху формой трудовой деятельности. Базирующаяся на командно-бюрократическом декретировании, она ущемляла принцип личной заинтересованности, не стимулировала рост производительности труда, не вела к повышению уровня народного благосостояния. Подтверждение сказанному — массовое истребление крестьянами обобществляемого скота (что выдавалось за происки «врагов народа») и вызывало тотальные репрессии), страшный голод 1932—1933 гг.

Через народ, как известно, перепрыгнуть нельзя. Но нечто подобное,

к сожалению, и было предпринято в нашем прошлом. Метастазы этого охватили все сферы, породив реальность, из которой изъят идеал, и идеал, из которого изъята реальность.

Теория становится реальностью при взаимном, обоюдном стремлении мысли и действительности. Ничего подобного, однако, не могло сложиться между практикой и теорией эпохи культа и застоя. Так как о «теории» было сказано выше, сосредоточимся на «практике». К характерным чертам последней мы бы отнесли:

— эволюционность — альфа и омега деятельности — «дальнейшее совершенствование» всего во всех направлениях;

— лозунговость — основной рычаг деятельности «Даешь», рассчитанный на внеэкономические факторы;

— частичность — ставка на отдельные функциональные преобразования подсистем без затрагивания системы в целом;

— парадность — двойная бухгалтерия, очковитрательство, рапортизм с сопутствующим благодушием (чего улучшать, если и так все неплохо);

— автократизм — предельная концентрация власти, обеспечивающая единоличность принятия решений, жесткую централизацию и порождающая иждивенчество, безынициативность, пассивные умонастроения «наверху виднее».

Могла ли подобная практика быть состыкована с теорией?

Теория провозглашала «все во имя человека, все на благо человека». Практика сталкивала с политикой «наши задачи грандиозны, и жертвы будут немалые». И они были. Народ готов на подвиг, лишения. Готов всегда. Но ради чего? Если призвание и цель социализма — личность, обеспечение условий ее максимальной самореализации, зачем жертвовать личностью? Цель и ее обеспечение должны быть соразмерны. Не все можно принести в жертву на алтарь цели.

Теория разоблачала культ. Практика вела к новым культам. Пускай не кровавым, отмеченным анекдотами, но культам, которые обходились не менее дорого.

Теория учила демократии, требовала исключить случайность из госу-

дарственного строительства. Практика ставила судьбу страны в зависимость от личных качеств очередных партийно-государственных деятелей.

Теория звала к заре коммунизма. Практика ни одним знаком не отмечала ее приближение.

Теория говорила: сила идеала (идеологии) в правде жизни, реалистичности. Практика превращала идеал (идеологию) в религию, отодвигая его из жизни настоящей в будущую и забывая, что человеческая жизнь не подготовка к будущей жизни, что жизни, отложенной на потом, не бывает.

Постепенно мы погружались в полосу серьезных, значительных трудностей, ибо на деле у нас все меньше и меньше претворяли в жизнь принцип соответствия теории и реальности. В итоге — сильнейшая девальвация теории, неверие в ответственную силу слова. Хорошая иллюстрация тому — события совсем недавние, не стершиеся из памяти людей современного поколения.

Середина 50-х — начало 60-х гг. отмечены простором слова. Впервые за долгие годы появилась возможность самовыражения, возможность реализации одной из фундаментальных конституционных гарантий. Народ с верой, трепетом принимает слово — орудие борьбы, справедливости. Это годы поклонения слову — годы стихийных сборищ у памятника Маяковскому, чтения стихов до уопения, неимоверных конкурсов на гуманитарные, оживления бардовской песни.

Насколько же контрастируют с этим периодом 70-е годы — годы метаний, первого понимания несбыточности просыпающихся надежд, годы сомнений, повального обращения к классическому правдоискательству. Из обширного наследия классики преимущественно выносятся одно: бичевание реальности. Вскоре, однако, становится ясно — наличную реальность бичевать трудно. На фоне появления диссидентства укрепляется растерянность, сменяемая безысходностью: в заданном направлении идти некуда.

Точки над «и» расставляют доапельские 80-е годы — годы имитаторства и мимикрии, демагогии и приспособленчества. Слово вырождается в словеса, обретает плоть не-

кой автономной необязательной реальности, которая, налагаясь на реальность реальную, поглощает ее без остатка. Это — годы неверия слову, средству заговаривания.

Разрыв между теорией и практикой, словом и делом в нашем обществе вел к кризису. И кризис разразился бы, если бы не переломное апрельское решение о быстрейшем реформировании общества, придании ему социально-экономической и политической гибкости, ускорения.

СХОЛАСТИКА

На нее ложится ответственность за недееспособность социальной теории. Последнее сказывается в наши дни — в период революционного обновления действительности, когда теория опоздала к историческим переменам.

Представлений об обновлении социалистического общества действительно не заложено в нашей теории. Решения о реорганизации социализма были вынужденными. В Польше соответствующий курс стал проводиться под давлением низов, в СССР, Вьетнаме и ряде других стран — по настоянию верхов. И в одном и в другом случае импульс исходил не от теории, а от объективной обстановки, характеризующейся предельным напряжением, остротой.

Почему же молчала теория? На наш взгляд, главным образом потому, что недоучитывала принципиальные черты социализма, развивающегося на собственной основе. Недоучет этого оборачивался серьезными просчетами, которые можно свести к следующему.

Прежде всего имелась тенденция подтягивать действительность под идеал. А именно, когда обнаруживалось, что жизнь не идет по теории, делалось все, чтобы откорректировать не теорию, а жизнь. Поистине не стоит село без праведника. И если, к примеру, оправдывавший ожидания партийных лидеров «придворный» теоретик заявлял, что государственная форма собственности предпочтительней, так как она ближе к идеалу, то свертывалась колхозно-кооперативная собственность, упразднялась кооперация. Способствовало ли это росту социализма? Ответ очевиден.

Наконец, крайне неадекватен метод чисто словесного согласования идеала и реальности, принятый на вооружение теорией прошлого. Когда выяснялось, что у нас по одну сторону социалдеал с его привлекательной сущностью, а по другую сторону вовсе не привлекательная содействительность, лишенная идеальной сущности, теория не находила ничего лучшего, как словосочетание «реальный социализм», списывая «потери и убытки» на стадии и этапы, связанные с ними «отдельные» трудности и недостатки.

Когда фразы обосновываются фразами, а не фактами, теория утрачивает не только чувство реальности, но и чувство нового. Для теории становится излишним дух поиска, здорового экспансионизма, из теории исподволь, постепенно уходит плюрализм взглядов, дискуссия. Нечто подобное и случилось с нашей теорией недавнего прошлого.

Проходившие обсуждения были лишены элемента полемики. Там, где полемика имела место (исключая критику буржуазной идеологии), она шла в русле дозволенного. Где же она выходила за санкционированные рамки, полемика свертывалась. Иногда безапелляционно, грубо, прямо в соответствии с угрюмо-бурчевскими указаниями: не в меру разошедшиеся науки временно закрывать, а в случае нераскаяния отменять навсегда. Таков, к примеру, финал одной из последних дискуссий о противоречиях при социализме в начале 80-х.

К идейному единству в теории стремиться надо, но не в ущерб демократическому обсуждению, свободному столкновению позиций. Идейное единство теории обеспечивается не заявками монополии на истину, а фактическими эвристическими возможностями. Принятие теории оправдано до тех пор, пока она действительна, жизнеспособна — в иных случаях призыв к верности теории реакционен.

Изменяющаяся реальность обслуживается изменяющейся теорией, — понимание этого не было свойственно прошлому. Трагедия состояла в том, что политическая тенденция сохранить «правильную» теорию препятствовала сознательному измене-

нию не укладывающейся в нее личной реальности. Социальная практика консервировалась, и это позволяло теории не вести вперед, а идти вровень с чем-то очень невысоким.

Поглощенная борьбой за внутреннее совершенство, теория оказалась герметичной — не сопряженной с действительностью. Ее форма довлела над содержанием, что влекло удущение содержания. Бессодержательные упражнения теоретиков, оптимизма не вызывавшие, породили социально-политический кризис теории, обуславливая резкое снижение интереса думающей интеллигенции к вопросам философии, социологии, обществознания в целом.

Апатия к теории стала индикатором не гражданской апатии, как казалось некоторым, а гражданской позиции: она свидетельствовала о неприятии фальши, рутины, идущей от социально-философской теории прошлого.

Что требуется для исправления положения дел к лучшему?

Первое. Требуется восстановить утраченную связь философии с жизнью, делая ставку на исследование реальных практических вопросов и отказываясь от игры в дефиниции, замкнутого в себе копошения в понятиях.

Философские категории в силу своей общности, не будучи спроецированы на предметность, определяют друг через друга как тавтологии. Что такое возможность — потенциальная действительность; что такое действительность — реализованная возможность. Чтобы не гонять науку по кругу, нужно замыкать философское содержание на эмпирический материал. К несчастью, у нас этого зачастую не делалось. Показательным негативным примером является изучение молодежи.

Молодежь, как и все остальное, у нас рассматривалась в целом — «вообще» как абстрактная универсалия. В результате утратилось предметное измерение понятия молодежи. Тогда как в теории понятие «молодежь» блуждало по собственному маршруту, на практике мы столкнулись с проблемами в молодежной среде. Имеется в виду меркантилизм, падение нравов, наркомания, преступность и т. п.

Пример демонстрирует, что магистраль развития философии — упрочение эмпирической базы. Требуется идти не от теории (сверху), а от материала (снизу); не действительность нужно подверстывать под теорию (нормативный мир должного), а теорию нужно согласовывать с действительностью (брать положение дел в сущем). Философию нельзя строить так, будто ее положения вальят с неба.

Восстановление реалистичности, эмпирической обоснованности философской теории покончит с хвостизмом философии, позволит организовывать ее не как плоское «исчисление высказываний», основанное на дедуцировании следствий из давно доказанного, а как творческую, обращенную к жизни теорию. Это так же позволит хоть в какой-то мере компенсировать долг, в котором философия оказалась перед обществом, политической практикой.

Второе. Требуется создание реально-демократической обстановки в обществе, обеспечивающей непредвзятый поиск. Имеется в виду:

— учреждение безусловной нерегламентированной гласности, допуск к архивам, периодическое, как в цивилизованных странах, рассекречивание документов;

— изгнание из общественных отношений всякого рода привилегий, преимуществ, излишеств, связанных с «номенклатурностью»; с использованием чиновного положения для ослабления ответственности, деформации социальной справедливости. Каждый, а не «пост предреждающий», может смеять свое суждение иметь применительно к любому казусу;

— узаконение социалистического идейного плюрализма, означающего эффективное подключение масс к политическому, духовному процессу на принципах равенства, терпимости, доверия, раскрепощенности, фактической реализованности права на широко понятое гражданское волеизъявление, права на взгляд и возможность его отстаивания. «Мы считаем даже... одним из недочетов современного движения, — подчеркивал Ленин, — отсутствие открытой полемики между заведомо расходящимися взглядами, стремление держать под спудом разногласия, касающиеся очень существенных вопросов». По-

ложение знаменательное. Когда на апрельской конференции РСДРП(б) при выборах ЦК кто-то отвел кандидатуру Каменева как идейного оппонента Ленина, последний возразил: «То, что мы спорим с т. Каменевым, дает только положительные результаты. Присутствие т. Каменева очень важно, также дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. Убедив его, после трудностей, узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах»;

— устранение из социальных отношений разрыва слова и дела. Разрыв слова и дела нетерпим. Он должен быть исключение не только как действительность, но и как возможность. И здесь, учитывая опыт истории, мы сталкиваемся с радикальной проблемой гарантий. Вопрос ведь не в том, чтобы принять позицию в некоторой императивной плоскости, а в том, чтобы последовательно ее проводить и отстаивать, осуществлять ее как главное призвание и содержание жизни, всей своей духовной и практической деятельности и борьбы. Последнее достигается лишь при реально демократическом устройстве общества, обеспечивающем полноценное участие всех и каждого во всех сферах социального созидания от исполнения до управления.

Третье. Перефразируя Л. Выготского, правильно сказать: то, что произошло в социальной теории, может быть лучше всего выражено безнадлежащим возгласом одного из героев чеховской драмы — дряхлого старика, оставленного в покинутом доме, в котором заколачивают окна: «Человека забыли».

Характерная черта реальности прошлого — расчеловеченность. Сколько делалось для укоренения чудовищных стереотипов безликости от поэтических: «мы только гайки единой спайки» до политических: человек — анонимный участник гигантской стройки будущего, среднестатистическая единица общественного процесса.

Между тем пора бы понять: в во-

просах личности формула «единица—ноль» не проходит. Она должна отступить перед формулой уникальной неповторимости, незаменимости, невосполнимости индивида. Не было безымянных людей, «были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и потому муки деяния. — В. И.) самого заметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю» (Ю. Фучик).

Социальную теорию требуется вернуть к человеку, — не к абстрактному компоненту целого, поглощающего личность, а к каждому что ни на есть «просто человеку» с его запросами, возможностями, переживаниями. Ибо не что-нибудь, а реальный «просто человек» составляет последний и высший объем социальной теории.

Четвертое. Требуется наличие твердой воли, высокой гражданственности, трансформирующих духовность в практически-жизненную позицию, побуждение в реальность. В социальной теории, как и в высокой литературе, привлекая мысль Достоевского, нужна страсть, идея и непременно указующий перст, страстно поднятый. «Для выхода из тупика, — уточнял М. Бахтин, — философии нужно стать философией поступка. А это требует заинтересованного эмоционально-волевого, нравственного философствования. Философия должна стать... авторской, тогда будут философские имена, а не должности. Философы должны не столько рассуждать о нравственности, сколько быть нравственными в выполнении своей социальной роли».

Открытость общества, последовательный, всесторонний демократизм, высокая гражданская культура теоретика позволяет реализовать основное предназначение социальной философии, которое, исполняя убеждение Блока, заключается в том, чтобы поднять внешние покровы, дабы открыть глубину; облечь поднятый из глубины смысл явлений в теорию; внести гармонию теории в жизнь.

В. ЛАМС. Итог всей жизни. Романы. / Пер. Ю. Абызова. — Рига: Лиесма, 1987.

А. СТАНКЕВИЧ. Последний из Меллупов. Роман, повесть. / Пер. Г. Гайлита. — Р.: Лиесма, 1987.

М. ЗАРИНЬШ. Календарь капельмейстера Коциня. Роман. / Авториз. пер. В. Андреева. — Р.: Лиесма, 1987.

М. ЗАРИНЬ. Календарь капельмейстера Коциня. Роман, повесть. — М. Сов. писатель, 1987.

А. КЛЯВИС. Белая тропинка над обрывом; Рассказы / Пер. Г. Гайлита. — Рига: Лиесма, 1987.

З. СКУИНЬ. Кровать с золотой ножкой. Легенды рода Вязгалов. / Пер. С. Цебаковско-го. — М. Сов. писатель, 1987.

В. МИХАЙЛОВ. Один на дороге. Роман. — М. Сов. писатель, 1987.

М. ЗОРИН. Начиналась война... Роман. — Р.: Авотс, 1987.

И. ЗИЕДОНИС. Курземите / Пер. В. Андреева. — Р.: Лиесма, 1987.

А. БЭЛС. Тайник. Корни. Романы / Пер. С. Цебаковский. — М. Сов. писатель, 1987.

Л. КЭРРОЛ. Алиса в Стране Чудес / Пер. с англ. А. Щербакова. — Р.: Лиесма, 1987.

М. ТВЕН. Принц и нищий. Повесть / Пер. с англ. К. И. Чуковского и Н. К. Чуковского. — Р.: Лиесма, 1987.

Ю. ОЛЕША. Зависть. Роман; Ни дня без строчки: Из записных книжек. — Р.: Лиесма, 1987.

ВОСПОМИНАНИЯ, ВРЕМЯ, РЕАЛЬНОСТЬ

Речь пойдет о книгах прозаиков Латвии, опубликованных в минувшем году издательствами «Лиесма» (на русском языке) и «Советский писатель».

Первое, что обращает на себя внимание: в списке имена, читателю знакомые. Это, конечно, случайность. Одна-другая книга-дебют там появиться могла. Существенно другое — прошедший год был весьма значительным для латышской литературы, поскольку в результате упорядочения постановки «на поток» выпуска первых книг в литературу пришло новое, довольно многочисленное поколение прозаиков. Речь при этом должна идти не о простом росте числа литераторов, но о «новой волне», в появлении которой одновременность издания играет отнюдь не главную роль. Разумеется, издание этих книг на русском языке потребует нескольких лет, тем не менее следует иметь в виду, что книги, о которых пойдет речь, представляют латышскую прозу (латышскую, потому что большинство изданного — переводы) в ее состоянии до 1987 года.

Другая особенность списка: новинок там немного. Несколько переизданий (В. Ламс, И. Зиедонис, А. Бэлс, М. Зорин), остальное — книжная публикация произведений, появлявшихся в журнале «Даугава» (А. Станкевич, В. Михайлов, М. Зариньш, З. Скуинь). Это то, что видно по списку. На уровне же «содержательном» вышедшие книги объединяет то, что все они (за исключением разве книг А. Клявиса и А. Бэлса) имеют дело с прошлым: являются воспоминаниями, основаны на воспоминаниях, включают в себя воспоминания как важнейшую составляющую.

Есть книги, сюжетно оформившие прошлое («Агнесса» А. Станкевича, «Начиналась война...» М. Зорина). Есть книги, в которых события прошлого используются существенно («Итог всей жизни» В. Ламса, «Один на дороге» В. Михайлова). Есть книги, обращающиеся к прошлому с довольно специфическими намерениями («Календарь капельмейстера Коциня» М. Зариньша, «Кровать с золотой ножкой» З. Скуиня). И книга («Курземите» И. Зиедониса), ставшая своего рода воспоминанием из-за переиздания. Есть, наверное, смысл присмотреться именно к этой особенности прозы, увидевшей свет в прошлом году, разобраться в причинах такого совпадения.

В двух книгах желание удержать прошлое получает максимальное выражение: в произведениях устраивается генеалогическое древо или герою создается родословная. Иесли в романе Скуиня сама эта вещь (генеалогическое древо) достаточно естественна и служит скорее для облегчения разбирательства в родственных связях и очередности появления на свет многочисленных персонажей романа, то в случае «Последнего из Меллупов» А. Станкевича возникновение и доведение до читателя тетрадок с родословной героя сигнализирует о том, что излишне педантично и почтительное отношение к прошлому таит в себе опасность начетничества. А также обнаруживает склонность полагаться на весьма условные представления. А чем иначе объяснимо то, что обнаружение среди бумаг умершего родственника тетрадки с перечислением людей, герою незнакомых, но находившихся в родстве с ним, способно оказать на него серьезное воздействие? Так положено, чтобы оказалось. Вот в чем тут дело: это подмена. «Последний из Меллупов» — очевидно, последний из рода Меллупов, уж однофамильцы-то отыщутся. Но род — если последовательность родственно связанных людей имеет право называться родом — означает нечто большее, нежели их простую последовательность. Речь все же должна идти о духовной преемственности, о каких-то общих, выработавшихся нравах и правилах. А такие вещи вряд ли передаваемы посредством тетрадки, содержащей в себе анкетные дан-

ные и краткие сведения об образе жизни предшественников. С тем же успехом энциклопедия может служить единственно необходимым источником человеку, желающему разобраться ну, скажем, в истории или литературе.

Станкевич вполне обходится без использования условно-значимых вещей во втором романе, в «Агнесе». Это простое, почти этнографическое изложение, дающее хорошее представление о жизни латгальской провинции и об отношениях внутри латышской армии конца тридцатых. В сущности, это «физиологический» очерк, оживленный действующими лицами — немного, возможно, в ущерб самой очерковости. К произведениям подобного же рода можно отнести и «Куклу и комедианта» В. Ламса, с тем разве, что в этом случае количество персонажей оказалось несоразмерным объему романа и они начинают чуточку мешать друг другу.

«Физиологичность» ни в коей мере не упрек. Конечно, на одних лишь воспоминаниях художественный текст построить невозможно, но о реалиях прошлого всегда интересно читать, и поэтому написать хороший и правдоподобный очерк прошлого — не так уж и мало. И не неблагоприятно.

Как ни странно, но этих, естественных выгод положения не использует Зариньша («Календарь капельмейстера Коциня»). В его романах с прошлым творится нечто загадочное. При всем обилии реалий, вплоть до цитирования статей и газетных объявлений 44 года (большинство из которых, а то и все, похоже, придуманы) и стихотворений Чака (которые вдруг тоже начинают походить на сочиненные автором), мало что из описываемого возможно воспринять как реальность. В чем тут дело? Можно, скажем, обвинить прозу Зариньша в эклектичности. Но эклектична по своей природе любая проза. Может быть, дело в том, что эклектичность здесь декоративная? А отсутствие жизни имеет то основание, что роман устроен разговорно и вся жизнь ушла на то, чтобы текст рассказать? Какое-то явное несоответствие между тем, о чем идет речь, и тем, что изложено. Хотя... хотя и написано легко и весело, и читать приятно, и все, в сущности, весьма

мило и благопристойно, но все как-то не взаправду, театральная постановка в любимом массаами стиле «ретро».

Трудно сказать, что именно мешает воспринять этот роман («КкК») всерьез. Может быть, все складывается по мелочам: трудно, например, серьезно относиться к мукам главного режиссера, желающего сохранить на должной высоте творческий уровень театра во время оккупации. Или неумогу выносить эпизоды, подобные эпизоду смерти художника Ирбе — он-то уж явно ведь не выдуман, лежит мертвый возле дома Фейтельберга на Мирной, но... «... уносимый огненной музыкой ночного органа в иной, лучший мир». То ли все перечеркивает концовка романа, в своей кремовой аляповатости сравнимая разве что с фреской в здании бывшего городского аэровокзала. Или повинны постоянные у Зариньша музыканты: где один из них только не возникал: — и в «Капельмейстере...», и в «... а над рожью клубился туман», и в «Фальшивом Фаусте», и все они душевно-изысканны и безумно талантливы. Уж музыканты-то, понятно, вымышлены (по крайней мере — в таком количестве), но в этом случае таким же плодом вымысла, авторской условностью является и прошлое и история. Хорошо, почему нет? Но что остается от книги по прочтении? Ощущение полного своеволия автора, превратившего историю в факт речи, энергия прошлого пошла на разговор.

Теперь, поскольку они обращаются к тем же тридцатым—сороковым годам, о двух книгах не переводных. «Начиналась война...» М. Зорина и «Один на дороге» В. Михайлова. Книга Зорина близка к типу книги Станкевича, то есть относится к жанру беллетризованного физиологического очерка, подкрепленного документальными материалами. В отличие от Станкевича, автор использует реалии не столько бытовые, сколько политические. Причем по ходу действия линии персонажей начинают стусевываться, речь о них заходит все реже, роман явно стремится стать документальным, а позже на его страницах появляются и текст Договора о ненападении 1939 года,

и текст речи Молотова от 22 июня 1941 года.

При чтении «Начиналась война...» приходится помнить, что это переиздание (впервые книга вышла в 1974 году). Роману свойственна некоторая механистичность, выражающаяся в аккуратном, почти сценарном разводе отдельных сюжетных линий. Роман, кроме того, как бы с избытком непотопляем: он, в общем-то, не утратил степени своей достоверности и в издании грошлого года — когда читателю пришлось узнать многое о своей предвоенной стране. Роман Зорина все это не затронуло.

Прозе, в которой присутствуют сюжетные линии, связанные лишь одновременностью своего развития, грозит опасность, проявляющаяся в случае, когда они относятся к разным слоям «общественного бытия». Может возникнуть весьма мрачная иерархичность. Некий герой, «маленький человек», живет в своем плане, а над ним — с ним не пересекаясь — стелется иная жизнь, жизнь маленького человека определяющая. Герой оказывается вторичен (даже просто структурно в тексте) по отношению к нависающей над ним истории. Он тут младенец, с которым как поступят — так с ним и будет. Не в том дело, что человек мало что может противопоставить этим процессам, так, — но он же невторичен по отношению к ним, а вторичность при подобной подаче материала неизбежна. Нет взаимного проникновения различных планов. Штирлица какого-нибудь, что ли, недостает в романе, дабы соединить эти плоскости, установить единый масштаб изображения.

То, что большинство книг прошлого года явно используют прошлое, входит в непосредственные отношения с временем, заставляет обратиться к такой материи, как внутреннее время произведения. Никакой текст не станет художественным, если в нем не будет устроен способ производства этого времени. Оно может быть позамитствовано из времени «исторического» — так поступает Зорин. В «Агнессе» время текста порождают исторические реалии, но, в отличие от «Начиналась война...», — реалии, связанные не с документальными фактами, но с бытом. Внутрен-

нее время текста Зорина — это время рассказывания романа, что снимает с реалий обязанность быть жизненно-правдоподобными. (Здесь, кстати, любопытно: чем бы стали документы, использованные Зориным, окажись они в романе Зариньша? И обратно: возможно ли перенести документы из романа Зариньша к Зорину? Как ни странно — документы ведь и документы — но подобный перенос невозможен в принципе.) Внутреннее время текста может быть и сконструировано — примером чему является любое произведение детективно-приключенческого жанра.

В случае «Одного на дороге» В. Михайлова мы, казалось бы, весьма относительно имеем дело с детективно-приключенческим романом. Нет явной выделенности этой линии, она не доминирует ни по объему, ни по вниманию, уделяемому ей автором. Да и внутри нее примет детектива немного. Нет явного противоборства, нет стандартных жанровых трюков и ходов: ни ловушек для читателя, ни намеренных недоговорок. И более того, обстоятельства жизни героя не служат лишь целям придания роману живости, скорее напротив — детективная линия используется здесь чуть ли не просто для мотивировки событий, происходящих с главным героем. Почему следует говорить об этом романе как об относящемся к вышеупомянутому жанру? Человек делает свое дело, почему же получается произведение приключенческое, а не, скажем, производственный роман?

Да потому, что время в романе порождается линией, в которой происходит разгадывание тайны. Не только этой линией, конечно, но время «детективное» почему-то гораздо активнее любого соперничающего с ним. Да, безусловно, все, что связано с работой главного героя, написано хорошо, сделано с реальным знанием профессии; возникает атмосфера присутствия, даже участия в размышлениях героя, что, казалось бы, совершенно странно: как профессиональные проблемы героя могут увлечь читателя, имеющего смутные представления о саперном деле. Но ведь и остальное в романе написано не спуская рукава и не для того, чтобы место заполнить...

Дело, возможно, в том, что детективу присуща гипертрофированная целенаправленность текста. Любая деталь значима дважды и трижды, ведь помимо простого описания места и времени действия она напрямую связана с загадкой и может оказаться в результате важнейшей. Но, с другой стороны, она важна лишь как работающая на эту линию: у вещей, предметов и даже воспоминаний отнимается самостоятельность, они принадлежат лишь интриге. У них нет другого времени, кроме ими же создаваемого, которым они поглощены полностью. А предметы и события не «детективные», они всегда более разболтанны, человечны. Они могут означать одно, другое — завися уже от читательского восприятия, где же им противостоять строевому шагу интриги. Это легко увидеть, взяв произведение, использующее детективный элемент, но детективом от этого не ставшее. Канонический пример: «Преступление и наказание». Там, в романе, время Раскольникова — не время расследования, но время его жизни, включающее в себя и время расследования. Господь, а не Порфирий отмеряет ему дни.

И вот еще особенность книг минувшего года, учитывая их тягу к воспоминаниям. В них нет «русских» воспоминаний. Впрочем, к воспоминаниям подобного рода можно отнести переиздания Ю. Олеси, Л. Кэрролла, М. Твена, ведь для многих перечитывание этих книг имеет непосредственное отношение к их личному прошлому. Но если говорить о Риге, о рижанах — таких книг нет. И Зорин и Михайлов пишут о русских, оказавшихся в Риге не то чтобы случайно, но только что здесь оказавшихся. Преемством к месту службы. Либо в командировке. Год на год, конечно, не приходится, но когда подобные книги выходили? Если, скажем, взять время (тридцатые—сороковые), с которым работают и Зариньша, и Станкевич, и Ламс, то чуть ли не единственным произведением последних лет, в котором идет речь о русскоязычной среде того времени, окажется роман В. Баала «Золотая». И так дело обстоит не только с тридцатыми—сороковыми. На отсутствие же подобного слоя нельзя сослаться просто потому, что это не

так, о чем свидетельствуют, например, культурологические публикации Ю. Абызова и Р. Тименчика.

Речь вовсе не о ностальгических моментах и даже не об утрате части городской истории. Культурология — слава богу, что у нас это есть, но для возможности развития рижской русской прозы культурологии все же недостаточно. Нужна литература художественная, и требуется преемственность в отношении к городу, необходима проза «почвеннического» склада — сколь ни дико выглядит это определение применительно к Риге. А такой прозы не было. И, похоже, не скоро возникнет.

Не будет ее потому, что практически ни один из молодых русскоязычных прозаиков о Риге не пишет. Люди, приехавшие сюда сравнительно недавно, работают на своем, привычном материале, а коренные рижане и рижане со стажем пишут фантастику, а если вдруг и появится произведение, в котором речь идет о реальном городе, — город будет обезличен. Даже если в нем и будут угадываться отдельные рижские местности и отдельно стоящие здания, промежутки между ними будут додуманы: совмещения с реальной Ригой не произойдет. Казалось бы, ничего страшного — будет у нас приличная и многочисленная школа фантастов, тоже неплохо. Но когда из фантастики состоит почти вся проза, становится ясно, что речь идет все же не о некоей коллективной склонности, но о системе. Возникает опасность развития, вернее неразвития — разрастания какой-то гидропонической литературы (нечто сожее с луком, произрастающим себе в баночках из-под майонеза рядком на подоконнике). Причины понятны: хотя бы то, что нет книг о русской Риге, которая как ни крути, а все ж таки была и существует. Ну ладно, не будем и о культурной ситуации, были бы хорошие тексты, на любом материале. Но беда в том, что, не работая с живым материалом, трудно чувствовать реальность, зато легко соскользнуть в область отвлеченного сочинительства. Говорю не о сложной, современной, «экспериментальной-интеллектуальной» прозе — об отвлеченном сочинительстве: трудно вообразить себе классную прозу, не обладающую навыком работы с ре-

альными временем и местом, не испытывающую на себе сопротивление живого, плотного материала.

Но помимо отсутствия традиций русской рижской прозы на молодых прозаиков влияют процессы и более общего характера. Речь может идти об утрате настоящего времени в литературе. Об утере непосредственной реальности.

Какие из книг прошлого года ближе к сегодняшнему дню по времени происходящего в них действия? Это сборник рассказов А. Клявиса «Белая тропинка над обрывом» и роман А. Бэлса «Тайник». Это восьмидесятие годы. Им предшествуют «Итог всей жизни» В. Ламса и «Журземите» И. Зиедониса — годы семидесятие. И раз уж все остальные заняты воспоминаниями, посмотрим на литературу более современную так: а о чем будут вспоминать впоследствии, лет через тридцать-сорок, герои Клявиса или Бэлса («Тайника», о «Корнях» разговор особый)? Да ни о чем. Не о чем им будет вспоминать. Ничего реального — такого, что могло бы разметить, упорядочить их нарастающее прошлое, у героев нет. Книга Клявиса и основывается, в сущности, на этих мотивах. На отсутствии изменений. Воспоминаний не будет, потому что время не происходит, оно не движется, год похож на год предыдущий, день схож с днем. Герои Клявиса не востребованы никем и ничем, то есть если не обращать внимания на возникающую торжественность фразы, — они не востребованы временем. А значит, времени для них нет.

Если бы Клявис писал об индивидуальностях — ну, это была бы просто другая проза. Клявис пишет о людях, которые сами с собой и с жизнью разобраться не могут. Это проза о некотором слое, представители которого не способны ощущать жизнь без внешних воздействий. Они от рождения в порочном кругу: для того чтобы в человеке могло появиться что-то новое, с ним должно что-то произойти. Что-то им обязано тянуть. А если никто и ничто, то и реальности для этих людей нет.

Сказанное в принципе относится и к роману Бэлса. Если, допустим, разделить «Тайник» на отдельные эпизоды, то роман превратится в цикл

рассказов, близких по тональности рассказам Клявиса. Здесь та же, что у Клявиса, городская среда, типичные и обезличенные в своих грешках и достоинствах персонажи. Люди, сами для себя, куда уж для других, время не производящие. А время извне — начиная с некоторого исторического момента — поступать перестало. Похоже, кстати, что «Тайник» — роман для Бэлса в чем-то промежуточный, проходной. По-видимому, у автора возникло желание не то чтобы отметить в городской современности, но, с помощью текста, приглядеться к ней.

Прошлое в этих книгах — исторического — нет. А вот что есть: сам процесс письма опирается на постоянные оглядывания. Нет чистого действия в настоящем, но в любой момент поведение героя окутывается его предысторией. При чтении «Тайника» возникает впечатление, что время в романе идет вспять: в каждом эпизоде — назад от текущего момента, в романе же в целом время пятится от его финала, от момента, когда героиня оказывается в своем чердачном укрытии. Это парадоксально: сказанное, казалось бы, определяет роман, устроенный строго хронологически, позднейшее действие в котором расположено в финале. Но нет, с читательским временем, с его длящимся настоящим, соотносится как раз конец романа, а все, что было до этого, оказывается ретроспекцией. Безусловно оправданной: надо же выяснить, что загнало человека в угол.

А загнало его туда то же самое, что разгоняет по своим углам и героев Клявиса, ведь тайник, потаенное место, укрытие — это не только место, где ты спрятался от всех и где тебя не обнаружат, но и место, находясь в котором сам ты не увидишь других. Подобные места не обязаны явно материализовываться в виде, скажем, чердака — укрытиями, например, являются и те области бытовой жизни, куда закатились герои Клявиса. Области безвременной, безбожной («без божества, без вдохновенья...») жизни.

Эта техническая особенность — сочинение от текущего момента вспять, используя постоянные оглядывания и припоминания, — прямо связана с тем, что герои подобной прозы вы-

нуждены отсиживаться в своих укромных местностях. Это вещи одного порядка и корня. Слишком уж часто используется этот прием, не только ведь у Клявиса или в «Тайнике», прибегают к нему чуть ли не все авторы разбираемых книг. Что же, исчезает возможность написать прозу, в которой само происходящее делало бы несущественной предысторию персонажей? Такую, например, как проза Олеши: «Зависть» и, тем более, «Ни дня без строчки» — произведение, декларативно обращенные в прошлое, в память, но тем не менее все там происходит сейчас, во время чтения.

Возникает весьма грустное предположение. Происходит, похоже, отмирание каких-то участков мозга, ответственных за непосредственное, ментальное восприятие жизни, и у нас остается возможность реагировать на происходящее лишь задним умом. И если дела с восприятием обстоят так, то никакая реальность — сколь угодно богатой она ни станет — помочь уже не сможет. Требуется весьма крутые, сильнотействующие средства, чтобы вернуться к непосредственному восприятию. И, надо отметить, поколение еще не переведенных с латышского прозаиков за эту работу взялось всерьез.

Итак, раз большинство авторов обращается именно к этому периоду — в сороковые, общее время еще существует. Во время действия рассказов Клявиса и «Тайника» — уже нет. Хронологически между этими книгами размещаются книги Ламса и Зиедониса. Итак, «Итог всей жизни». Здесь все очень наглядно. Действие в романе двойся: есть воспоминания героя (вновь полувековой давности) и есть современная реальность, лет на десять менее современная, нежели присутствующая в рассказах Клявиса и в «Тайнике».

Проведем простенький мысленный эксперимент: представим себе, что исчезла вторая составляющая романа. Что останется? Если останется закрутить сюжетно, то получится вещь типа «Агнессы» или «Куклы и комедианта» самого Ламса. Нечто этнографическое. Убрать историческую часть — и роман перестанет быть романом, и образуется бытовая повестушка о том, как пожилой человек захотел жениться на молодень-

кой, а ее увел молодой напарник. Вещь, родственную только что разбившимся.

Историческое время в романе Ламса ломается пополам. Время было и время пропало. И, похоже, его пропала связана с попыткой директивного устранения целостности жизни с целью ее разделения на отдельные, планируемые отрасли. Логика понятна. Зачем иметь дело с чем-то труднодостижимым, загадочным и непредсказуемым в своих проявлениях, если удастся разбить это на составляющие и отдать их под надзор соответствующим ведомствам. И то, что было непредсказуемым и ненадежным, будет создаваться в требуемом виде и потребном количестве распределенными усилиями всех членов общества. Одни создают материальные ценности, другие — обслуживают, третьи — снабжают культурой («Где песни про горняков?!» — требуют с трибуны горняки), а еще кто-то — объясняет, как правильно жить. С людей сняли бремя необходимости воспринимать жизнь в целом и с нею самостоятельно разбираться; да и как можно, раз известны общие закономерности исторического процесса, а также место каждого в этом процессе. Жизнь в результате подобного препарирования дышать почти перестала, и как на препарированных останках делать серьезную прозу?

Честно говоря, стоило все же попытаться в этот переплет, чтобы порадоваться неудаче предприятия. Но грустно за тех, кто вынужден был жить и действовать в схеме, начерченной красиво на ватмане. Речь о «Курземите».

«Курземите» по своей природе — не о прошлом, это как раз хороший пример литературы непосредственного восприятия. Но теперь книга переиздана и стала — о прошлом. И даже для того читателя, который в свое время книгу не прочел. Сильно своей за истекшие годы книга не утратила, более того: обрела новое качество. Стала документом. Притом документом редкой искренности.

Читать «Курземите» грустно. Грустно из-за нашего мнимого превосходства знающих ответы (зная результаты тиража). Грустно потому, что усилия автора были в известной степени напрасны, а они оказались

напрасными хотя бы потому, что сейчас столь открытую и лирическую прозу (тем более от первого лица, тем более — от автора) написать уже невозможно. Что-то, значит, с тех пор испортилось. Грустно потому, что в очередной раз убеждаешься: не от малого числа праведников сей мир зависит. То ли никогда он от них не зависел, то ли праведники не то делают или вместе собраться не могут, то ли произошло уже нечто такое, что не помогут и праведники. Или слушают их, в смысл не вникая, а лишь умиляясь стройной речью.

Книга двухчастна. Действие первой происходит в теплом летнем раю, в раю совершенно земном. В первой части речь идет о взаимоотношениях человека и человека, когда в их общение не вмешивается ничто постороннее, и обладающий духовной энергией (Зиедонис часто говорит об этом) способен передать часть ее другому.

Может быть, поэт чуточку подыгрывает себе, чуточку додумывает, высветляет все и всех на своей дорожке. Может быть, это тот случай, когда наблюдатель оказывает влияние на сам ход процесса: в присутствии поэта любой человек захочет быть или казаться лучше, либо действительно становится лучше. Или дело в том, что лето. И когда автору кажется, что между ним и собеседником наступило взаимопонимание и навстречу исходящему от него теплу идет тепло собеседника — все не так: источником тепла оказывается летний ветерок.

Во второй части ветерку взяты неоткуда. Осень. И тут уже предстоит распознать действительное наличие тепла в собеседнике. Речь уже не о человеке и человеке, а о человеке и таких и этаких общественных структурах. Поэт сменил пеший ход на машину, посещает не хутора, а колхозы. Во второй части он больше молчит, выслушивает.

Подзаголовок второй части: «Продолжение старинной песни о том, как зывают к свету, как возгорается он или не возгорается». В общем-то — больше о том, как не возгорается. Нас-то, в конце восьмидесятых, этим не удивить. Мы привыкли к тому, что не возгорается. А тогда, выходит, казалось, что бездуховности можно противостоять. Нам, наверное, немно-

го смешно читать: «Как может село существовать без культурорга? ЧТО ЖЕ ТАМ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ПРО-ИСХОДИТ?» (подчеркнуто автором). А что происходит... Живут себе люди.

Если у человека есть внутри это, ну то, что возгорается, — с ним, в общем, все в порядке. Он в силах передать это другим: дюжине, двум дюжинам. Ну, не больше сотни. Но это ведь акт разовый. Дальше человеку придется жить самому, и многое зависит от благожелательности к нему окружающего. Зиедонис, как человек среды, полагающий, что (и это ее основная примета) духовное развитие есть то, чем под этим небом следует заниматься в первую очередь, был либо уверен, либо заставлял себя верить в то, что общественные структуры созданы прежде всего для поддержки духовного роста человека и этим обеспокоены. Мы-то, в восьмидесятых, знаем — не слишком обеспокоены. Нельзя сказать, что это знание делает нас счастливее. Мудрее? Трудно утверждать.

Поэт колесит по колхозам и проселкам, видит: вот люди, которые бог весть ради чего разрываются, волочат на себе жизнь и за себя и для других. При них все как-то дышит. Уйдут они — ничего не останется. Все ухнет куда-то в никуда.

В чем дело? А просто все разведено по своим углам, нет целостности и любая отдельная сторона жизни остается отдельной, захиреет в одиночестве, не сумев прорасти в другие. Духовная жизнь передана в ведение культурорга, который «вовсе не так уж и нужен». Все — не цело, все усыхает. Поэт ищет выход: как бы одухотворить все это, возделывать, воссоединить, сделать личевечным — да почему же все так скучно и без выдумки? Можно бы сделать так... можно бы предпринять вот это... возле столетних дубов награждать трактористов... устраивать походы, а не экскурсии за тряпками... бассейн построить... крыши крыть черепицей, а не шифером... У души, будто она тяжело больна, не может подняться с постели, спрашивают, допытываются: хочешь то? или вот это? А она безучастно кивнет: давайте... давайте хор устроим... в театр съездим... Все — порознь,

проскальзывает между пальцев. Необходимо чувствовать, по крайней мере — осознавать наличие неких духовных инвариантов. Требуется возвращение к целостному мировосприятию.

Из книги прошлого года лишь два произведения (не считая переизданной классики) — «Кровать с золотой ножкой» З. Скуиня и «Корни» А. Бэlsa — относятся к прозе художественной в строгом смысле этого понятия. Словесный материал здесь служит не только для беллетризованной записи того, что уже придумано, но принимает непосредственное участие в сочинении текста.

События в романе Скуиня излагаются примерно так, как показывают слайды. Слайды как бы все уже где-то есть, рассортированы по коробочкам и поочередно вставляются в проектор. Очередную пластинку можно взять из той же коробочки, что и предыдущую, следом за ней, можно взять из другой, можно брать из той же, но не подряд. Никакого ущерба изложению подобные хронологические перебивы не нанесут — так уж устроен роман. В нем все вполне уравновешено: нет сюжетных линий, которые могут «испортиться» от подобных смен изображения, не нарушается цельность персонажей — те ведь существуют только на картинках. Можно, например, обратившись к коробочке с изображением некоего персонажа и его потомков, выдернуть картинку из самого конца и прервать изложение событий времен первой мировой рассказом о борьбе одного из них против размещения «Першингов». И ничего страшного не произойдет. Так уж в романе устроено время.

Дело в том, что этот текст как бы опирается на закон больших чисел. Ориентируется не на отдельные события, но на статистику. Никакое событие не будет прописано со всеми возможными и даже необходимыми в целях правдоподобия мотивировками, суть и причины произошедшего выясняться не будут. Никакой психологии. Живого диалога с читателем нет, от читателя не требуется соучастие, подключение его ассоциаций. Читатель здесь не собеседник, но зритель, которому показывают картинки. И после сеанса он уйдет с

каким-то образовавшимся настроем. И скорее всего с хорошим.

Текст разрастается, по нему бегает громадное количество устраивающих свои жизни персонажей. Содержат все это многолюдье, точнее — «многоперсонажье», в строгих рамках позволяет генеалогическое древо, на ветвях которого все семейство размещается вполне надежно. Отдельные колена и поступки персонажей здесь, собственно говоря, вовсе и не важны — важно то, что встречаемо наиболее часто. Роман словно лужайка в районе новостроек: отдельные проходы по которой образуют в конце концов максимально вытопанные и, следовательно, наиболее необходимые тропки. Сверху посмотреть — образовался иероглиф, что ли. Некий символ искомого инварианта.

Внутри такого текста вполне допустимы отдельные слабости и упущения — они будут скомпенсированы. Другое дело, что и удачные места окажутся занесенными всем изложением. И, собственно говоря, не представляется особым недочетом то, что начиная уже со второй трети романа читателю не просто упомянуть обо всех персонажах и соотносить очередное появление очередного из них (или одного из прежних?) с изложенным ранее. Такой текст, такие в нем нравы.

Больше того, весь этот многолюдный хаос вдруг начинает наводить на мысль о его самозарождении: сам текст, похоже, извлекает из автора все новых и новых героев со все новыми их выбрыками. Текст живет самостоятельно и устойчиво. И поэтому не мешают, даже скорее веселят явные нелепицы и притягивание совершенно анекдотичных, придуманных фактов — здесь все идет в дело. Здесь так можно. Пойдет в дело и то, что слово «халтура» изобретено, оказывается, в Зунте, и то, что до движущихся картинок додумался местный Ной, и многое другое. Люди шатаются по свету, привозят с собой электрические машины, устраивают в Зунте карусель, в поселке рождаются коровы о двух головах, воскресают покойники — Зунте понемногу становится если и не вариантом Макондо, то по крайней мере латышскими Нью-Васюками, вступившими в период расцвета.

Но все хорошо, пока текст, используя реалии внешней жизни, работает в своем времени. Когда же предпринимается попытка отщипнуть от времени реального, находящегося за стенами романа, начинаются сбои. Вот о чем речь. Время у Скуиня не хронично, не линейно, не последовательно. Оно кусочно и движется шажками — при каждой смене слайда. Не в том дело, что в подобной, «игровой» прозе не следует использовать реалии — следует, и автор их использует умело (хотя бы варианты тюремного зачатия мальчика или прощальный разговор двух старух о черных лебедях). Текст сникает и разваливается, когда предпринимает попытку выйти во внешнее время. Упоминание Петерса или мексиканского псевдоанархиста, исполнившего известный «акт возмездия», накликает ситуацию портрета со вставленным в прорезь живым носом. Но забывается и это.

И что же? Задача выполнена. Все приведенные на рисунке ветви древа Взягалов прописаны, картинка заполнена: вот он, ветвящийся инвариант-иероглиф. Но в результате — тавтология. Либо получился инвариант пусть и необходимый, но явно недостаточный. Уж чем-чем, а рождением, жизнью и смертью — этим мы уж точно обладаем. А вот генеалогическое древо себя изнутри осознать не в состоянии. Требуется сторонний автор, чтобы привнести в историю художественный смысл и свести все в единое целое текста.

И, наконец, главная удача года — роман А. Бэlsa «Корни». Удача очень значительная, даже для такого писателя, как Бэлс.

Источник времени в романе — лес. Или — Лес. С большой буквы, потому что Лес является главным действующим лицом романа и требует для себя имени собственного. Отношения персонажей с лесом — отношения с существом несомненно одушевленным. Отношения эти всегда не поверхностные, не внешние, обусловленные местом их жизни, но более глубокие, требующие участия в них всего человека. И отношения эти от недеклалируемой любви до: «Она уверяла, что лес лишает человека человечности, что лес торжествует инстинкты, что лес величайший враг цивилизации». Что это,

об обычном лесе? Может быть, мы имеем дело с притчей? Тем более что в романе действуют полумифические персонажи: человек по кличке Букубенде («Потрошитель косуль») или хотя бы Черная труба. Олени, знающие друг друга по именам. Тем более, что бэлсовский лес является неким вариантом, братом что ли, океана «Соляриса»: лес в состоянии не только вести безмолвный диалог с человеком, но и устроить, например, так, что на проселочной дороге вдруг проявится, возникнет труп человека, убитого здесь сорок лет назад.

Да никакая это не притча и лес никакой не условный, а на редкость настоящий и живой. Странно (а если подумать — ничуть), но в своей реальности он куда более таинствен, нежели намеренно таинственный лес «Улитки на склоне» Стругацких. Здесь достаточно посмотреть на фактуру текста: текст абсолютно целен, и это при том, что стилистически он — как раз невероятно разнороден. В тексте масса плохо, казалось бы, стыкуемых блоков. От стенограммы собрания до притчи. Там и «нормальные», традиционные описания, и сказки, и охотничьи истории, и вполне отвлеченные рассуждения, и легенда. Все это ни за что не составилось бы в целое без наличия внутренней центробежной силы. Без леса.

Может быть, теперь уже не на поверхностном уровне, воспринимать лес как маску для той таинственной субстанции, которая нас знает и понимает, внутри которой понимание и возможно? «Лес ставит человека лицом к лицу с самим собой». «Как отражение в воде, лес повторяется в глубинах земли, с той только разницей, что отражение в воде — мнимость, а лес корней — живая реальность». И многое другое, что соотносимо с этим всепонимающим собеседником — например, с культурой. Этот некто может быть и культурой, и, скажем, городом (чем не лес — со своими тропами, зверями, обычаями, живым укладом и корнями?), хотя бы потому, что для самоопределения нам неизбежно потребуются все, что нас окружает. А в романе он — лес.

Лес втягивает в себя всех, кто появляется на страницах, их смысл и

значимость заключаются в том, что они имеют отношение (прямое, опосредованное) к лесу. Нет в романе персонажа, который не был бы не порожден им. Лес тянет свои нити во все личные и общественные проблемы действующих лиц — историями, басенками, приметам — наконец. Смысл и связность исходят от него, как свет от лампочки.

Эта материализовавшаяся в виде леса жизненность разводит в романе всех по своим местам. Живое вызывает, требует отношения к себе, и каждый, соприкоснувшийся с ней, попавший в поле ее воздействия, обретает свое место: есть те, кто сохраняет это живое, есть те, кто хочет урвать от него. Есть горячие, есть холодные и теплые. Переменить себя они могут, не могут только выйти из этого притяжения и не могут не разделить его судьбу — осознавая или не осознавая свою зависимость. Жизнь умеет изыскать способы поступать так, как ей свойственно.

И, будем думать, не оставит без своего внимания и литературу. Беда книг прошлого года в том, что они друг с другом не сообщаются. Не образуют совместно общей литературы. Они не общаются: не возникает диалог, действительность не обговаривается в общей беседе. Но начаться подобный разговор должен. Какого рода?

Не следует уповать на современность материала — было, знакомо... Не следует, наверное, ждать многого от происходящей ныне ломки стереотипов: это скорее всего приведет к появлению текстов, рефлексизирующих по поводу факта ломки и обеспечивающих появление стереотипов подновленных. Да к тому же есть опасение, что в обоих этих случаях заявится просто перебранка кухонного толка. Не следует возлагать надежды на изменения — происходящие — изобразительных средств: они скажутся не скоро, да и общим вниманием не завладеют. Трудно предугадать, наверное, какой именно, но разговор должен возникнуть, простое соображение: он, как правило, возобновлялся — что бы там ни происходило в паузах. И не хотелось бы оказаться среди исключений.

ЗЫРЯНСКИЙ ФАУСТ

В двенадцатилетнем возрасте, когда я гостил в Риге у сестры отца Марии, мне довелось встретить у нее ложилого бородатого человека. Тетя заставила меня познакомиться — это был знаменитый философ Жаков. Одну из своих трех комнат она отдала профессору, потому что старый ученый был болен и неухожен. Познакомились они в обществе лимитистов, где Мария Зариня слушала лекции профессора, а впоследствии она стала его секретаршей. С 1922 года общество размещалось на шестом этаже дома Алексеева (ныне ул Горького, 57/59, кв. 23) в квартире владельца типографии (между прочим, Креслинь был членом правления общества лимитистов, а сын управляющего домами Алексеева в советское время стал директором ВЭФа!).

Комната профессора находилась слева от прихожей. Через открытую дверь была видна доска с мелками на подставке. Стоя у доски, Жаков писал на ней буквы и формулы.

— Разве он математик! — с удивлением спросил я у тетушки.

— И математик, и философ, и писатель, — ответила Мария. — Он создал свое философское направление — лимитизм. Им недавно Райнис интересовался. Просил передать поэму «Биармия».

Это все, что я в тот раз узнал об этом интересном человеке. К сожалению, двенадцатилетний мальчик мало что понимал в философии. Правда, тетушка Мария пыталась меня учить: пару раз брала с собой на лекции общества лимитистов, которые проходили в помещении начальной школы на улице Торню, где собиралось много слушателей. Жаков читал по-русски, Мария Зариня записывала текст лекции, затем переводила его на латышский, а хозяин квартиры Креслинь размножал его в своей типографии и после лекций отдавал всем интересующимся. Таким образом, общество собирало средства для аренды помещения. Мария Зариня получала зарплату как домашняя учительница. Жаков надеялся, что он получит работу в Латвийском университете, но руководство факультета не признавало этого философского направления. Профессору оставалось перебиваться случайными заработками, и до самой смерти он жил в Риге в очень стесненных обстоятельствах.

Маргер ЗАРИНЬШ

Если проблема взаимодействия культур и дружбы народов остается остро актуальной и важной для дальнейшего конструирования культуры, не может забыться имя вели-

кого сына коми К. Ф. Жакова (1866—1926). Сама жизнь его наглядно и ярко показывает, каких вершин человеческого духа может достичь человек, не замыкающийся в провин-

циальном самодовольстве, а мыслящий широко и раскованно, чьи глаза открыты для достижений человеческой мысли.

Оригинальный мыслитель, писатель, этнолог, фольклорист и педагог, Каллистрат Фалалеевич Жаков родился в семье зырянского крестьянина. Вместе с украинским искусствоведом Данилом Щербаконским и историком Леонидом Беркутом учился на Украине, в Киевском университете¹. Написал много книг интересной прозы на языке русском, поэтому справедливо считается писателем коми и русским². Довольно долго жил в Латвии, а также в Эстонии. Его поэму «Биармия» перевел на латышский язык Ян Райнис, приходивший вместе с Аспазией на его лекции³. В одном из некрологов Жакова отмечалось, что он «пользовался среди рижан безграничным уважением»⁴.

Произведения Жакова прочно вошли в сокровищницу культуры. В письме к Леониду Андрееву (1912) высокую оценку его творчества дал Горький: «Знаешь: в России есть интересный писатель Жаков, зырянин. Любопытнейшая фигура!..»⁵ А в письме к А. Н. Тихонову (1914): «Жаков был, оставил книги свои, 2-й и 3-й томы «Сквозь строй (жизни)», — это, батенька, тоже глубоко интересно, до жути!»⁶ Каждому очевидно, что человек, хоть одно произведение которого заслужило такие оценки высокого пролетарского писателя, не может не заслуживать и пристального внимания нынешних читателей и ученых.

Статьи о Жакове помещены в «Краткой литературной энциклопедии» (том 9), «Украинской советской энциклопедии» (том 3) и многих других изданиях. К сожалению, его творчество известно еще не столь широко, как следовало бы, хотя в его трудах так много нужного со-

временному человеку. Те люди, кто, по меткому выражению Пушкина, ленив и нелюбопытен, конечно, могут прожить жизнь и без Жакова. Но без него они будут только много бедней и значительно скучнее.

Наследие Жакова — не только лишь глава в истории культуры. Его произведения и научные труды призывает острая мысль человека, далеко опередившего свое время, человека, действительно нужного потомкам. Но, видимо, самое ценное, что он оставил, — это сам его человеческий опыт. Он сам как тип личности. Как образ жизни и мышления.

Обратимся же к текстам, — этот метод применял и сам Жаков в своей педагогической деятельности. Вместо схоластических квази-литературоведческих упражнений на его уроках проводились классные чтения произведений великих авторов. На экзаменах выяснилось, что его ученики усвоили материал лучше и основательней.

«Друг мой! — писал Жаков ученику Э. Гросвальду. — Я происхожу из мифологической среды одаренных зырян». До десяти лет Жаков не видел книги. Придя в начальную школу, он заявил учительнице, что хочет «узнать вопросы и ответы: что есть дерево, что такое солнце? Что бы и ответ был. Также молитвы позырянски хочу узнать»⁸. Путь к познанию давался ему нелегко. Он то делал большие успехи в системе измерений государственной российской культуры, то опять словно проваливался в лесное небытие, блуждая по деревьям, работая чернорабочим, борясь с местными силами. Тяга к знаниям вновь вела его в города, но познание мира шло вдвое медленнее, чем у всех. Жаков шел двумя разными путями: постигал европейскую культуру, читал

¹ Государственный архив г. Киева, ф. 16, оп. 465, № 1079, л. 7 об. — 13 об.; № 1087, л. 1—10 об. и т. д.

² Демин В. В семье вольной, новой. «Краткая литературная энциклопедия» о расцвете пермских литератор. — Красное знамя, Сыктывкар, 1979, 9 февраля, № 33, с. 4.

³ Зиедонис Имант. Курземите. Рига, «Лиесма», 1976, с. 91.

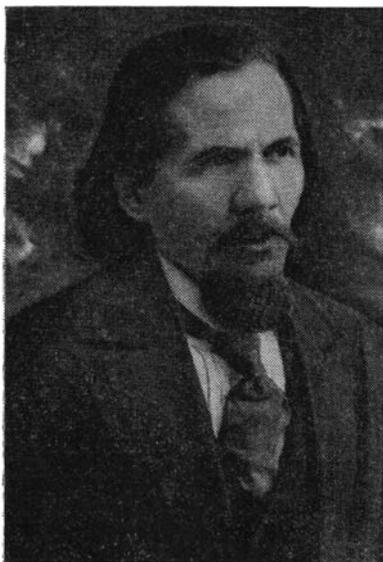
⁴ Проф. К. Ф. Жаков, — Наш огонек, Рига, 1926, 30 января, № 5, с. 15.

⁵ Литературное наследство, т. 72, М., «Наука», 1965, с. 346.

⁶ Горьковские чтения. 1953—1957. М., Изд-во АН СССР, 1959, с. 48.

⁷ Центральный государственный исторический архив (далее: ЦГИА) Латвии, ф. 1826, оп. 1, № 728, л. 22. Письмо от 9 сентября 1920 г.

⁸ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни (ч. 1), Спб., 1912, с. 30.



К. Ф. Жаков

Гегеля и Спенсера и — усваивал опыт жителей лесов. В результате получился интереснейший, очень цельный сплав крестьянского, очень зырянского недифференцированного мышления с огромной европейской эрудицией. В конце концов после тяжких лет отчаянной борьбы с жизнью (свою автобиографическую повесть он назвал «Сквозь строй жизни») он приехал на родину уже профессором философии.

Эту свою науку, а также логику, гносеологию Жаков любил страстно. Из философии выводил он, собственно, всю культуру: «Литература или поэзия каждого века, — утверждал он, — возникает на почве общего мирозерцания, а это мирозерцание определяется в значительной мере господствующими философскими течениями данной эпохи (. . .)⁹. На вопрос же, чем занимает

ся наука логика, он отвечал так: «Она разбирает принципы наук; она занимается очень простым делом: именно оправданием всякого знания, чтобы отличить истину от лжи (. . .)¹⁰. Замечательное определение!

Его стремление к познанию поражало всех, это был главный нерв его существования. Этим он горел. В седьмом классе гимназии Жаков прочел кантовскую «Критику чистого разума», и идея непознаваемости мира так его потрясла, что он выпил раствор сулемы и только чудом не умер. «Кант был его роковым недугом, — вспоминал С. О. Грузенберг, — отравой, омрачавшей радости его научного творчества. «Нужно преодолеть Канта: это — яд для науки!» — не раз говорил он мне (. . .)¹¹.

Тягу к знанию Жаков пронес через всю жизнь, причем его юношеский напряженный максимализм никогда в нем не угасал. «Я ездил по лесам, — говорит он о более позднем периоде, — по инородцам, а сам думал все о бытии, о познании, о тенденциях. — Если я не узнаю сущности вещей, никто уже ее не узнает. У кого хватит терпения изучать все науки, все философии и думать ежедневно о сущности вещей. — Мужикам задавал вопросы. Те в ответ рассказывали мне, что в их местах был умный дьякон и все пил, и кончил белою горячкою, что умный священнический сын был и от дум с ума сошел, и запел в церкви во время службы песнь неподходящую. — Никто не мог мне помочь в начатом деле познания бытия¹². А о еще более позднем времени он рассказывал: «Хотя осенью 1916 года я был болен, но ежедневно писал сказки и думал о бытии и познании. Студенты приходили, брали мои рукописи и читали мои сказки и дневники. У меня не было тайн от людей. Все читали и видели раны души моей (. . .)¹³. Так

⁹ Жаков К. Леонид Андреев и его произведения. (Опыт философской критики). — В изд.: Андреев Леонид. Рассказ о семи повешенных. СПб., 1909), с. III. (Бесплатное приложение к журналу «Ясная Поляна», 1909, № 3).

¹⁰ Логики. По лекциям проф. К. Ф. Жакова. Изд. 2 (Пг., 1910), с. 2. Литографированное издание.

¹¹ Грузенберг С. О. Зырянский подвижник науки. — Вестник знания, 1926, № 7, столб. 485.

¹² Жаков К. Ф. Лимитизм. Единство наук, философий и религий. Рига, 1929, с. 30.

¹³ Там же.

жить мог только человек, не игравший в науку, не «занимавшийся» ею, а положивший для нее самую свою жизнь. В мятущейся душе этого неутомимого искателя истины, влюбленного в науку до полного самозабвения, было что-то фаустовское: тот же пылкий ум, то же отважное проникновение в сокровенные глубины бытия, та же неутомимая жажда «все познать, все изведать», те же сомнения в возможностях науки, та же скорбь и томление духа по «горним мирам». Для Жакова «проклятые вопросы» были не сухими академическими проблемами, — он дышал ими, скорбел о них, переживал «мировую трагедию» как личную, потрясающую драму. Так считали знавшие его люди¹⁴.

Испытания, выпавшие на его долю, не ожесточили Жакова. Он не держал зла на людей, причинивших ему несчастье. Оставаясь добрым человеком, он относился к невзгодам истинно философски. «В Вологде, — рассказывал он, — к этому времени перемерли все преследовавшие меня. Полицмейстер умер от солнечного удара, В. умер от болезни печени, несколько губернаторов переумерло, преосвященный был заключен в монастырь и т. д.»¹⁵. При всех невзгодах ему удавалось оставаться оптимистом, он считал, что как бы то ни было — в конечном счете восторжествует справедливость. «Не каждый ли день звезды поднимаются с востока из-за моря и опускаются на западе, скрываясь за кругом земным?»¹⁶. Все будет, как нужно, — причем такая позиция не делала его человеком пассивным.

До самой смерти Жакову посчастливилось сохранить образ мышления лесного человека, воспринимающего мир синкретически, обобщенно — сразу во всем его целом, во всем богатстве составляющих его частей. Вот как он писал об уни-

верситетском профессоре анатомии: «Раз принес он в спирте голубя со свернутой головой, и я ушел с лекции. Я говорил себе: «Стоит ли человеческое знание того, чтобы свертывать головы птицам (...)»¹⁷. Или вот о первой его публикации: «Тут я впервые в 35 лет увидел себя в печати и не думаю, что это поздно. Если бы люди серьезнее относились к печатному слову и не спешили наводнять книжный рынок мало обдуманными произведениями, лжи было бы меньше в жизни и прогресс подвигался бы скорее»¹⁸. Или — о его излюбленной лектуре: «В это время напал я на книгу Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский» и читал ее 15 лет каждый день»¹⁹. Просто, не правда ли? Такая «наивность», от которой образованный европеец только руками разведет, осталась у него навсегда. И именно так умел он подходить к запутаннейшим научным вопросам. Однажды Жаков обронил, что «даже немцев» можно превзойти, если «представить все науки в простом виде»²⁰.

Конечно, он имел условия для самовыражения. «В 1907 году, — рассказывает Жаков, — я избран был преподавателем в психоневрологический институт. Мне предложили читать логику и древнюю философию. Я, никого не слушаясь, как истинный самоед, стал читать свою философию и гносеологию»²¹. Но, к чести его будь сказано, желая сделать науку более популярной, Жаков, однако, никогда не пытался ее вульгаризовать. Он шутил: «Меня пугали со всех сторон и говорили: «Гараморт — чудак! Захотел познать сущность бытия. Гараморт — дилетант, он не знает последних математиков Испании. Он не знает всех гимнов Вед, составленных в Пенджабе. Гараморт не знает всех царей Пергамских. Гараморт не знает всех быков Китая. Гараморт не бывал у английских пэров, а хочет познать Бога. Гараморт не знает всех тон-

¹⁴ См.: Грузенберг С. О. Зырянский подвижник, столб. 485—486.

¹⁵ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 2. Спб., 1912, с. 56—57.

¹⁶ Жаков К. Ф. На Север, в поисках за Памом Бур-Мортом. Спб., 1905, с. 146.

¹⁷ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 2, с. 60—61.

¹⁸ Там же, с. 69.

¹⁹ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 30.

²⁰ ЦГИА ЛатвССР, ф. 1826, оп. 1, № 727, л. 93 об.

²¹ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 31.

костей в стихах Теренция. Гараморт не знает всех пятен на Луне». — О мужи почтенные, благодетели шара земного! Всех частных знать нельзя, всех имен помнить невозможно, все холмы нельзя перечислить, но надо знать общие законы мировые. Типичные отношения в бытии. Основные свойства человека и общества. Знание есть знание общего. Знание не есть знание всех пятен на всех книгах»²².

Желя постичь науки осознанно, дойти до всего своим умом, Жаков не мог не входить в конфликт с учеными не мыслящими: «Я стал говорить математикам: «Бесконечно малое число — это тенденция. У вас

ноль ничто. Но почему же $\frac{0}{0}$ (ноль, деленный на ноль) дает число?» — «Ты математики не знаешь», — ответил мне профессор математики»²³. На это я ему возразил: «Вы немножко знаете математику, но основ ее совершенно не разумеете; вы знаете кой-какие формулы, но почему они возможны — это для вас темная ночь»²⁴. И далее: «Сидя на советах профессоров, я видел, что они не понимают системы наук, не понимают тех возможностей, благодаря которым создались науки. Корней не знают они познания, ни цели его высокой (...).»²⁵.

При всей целостности и неминуемой при этом упрощенности мировосприятия в познании Жаков всегда оставался голодный и ненасытен. Осваивая высочайшие достижения европейской культуры, он показал, на что способен человек заинтересованный, крепко свое дело любящий. Когда в Петербурге издавали произведения Платона, Кнута Гамсуна, Леонида Андреева, — основательные предисловия к этим изданиям писал уже этот самый «Гараморт». За этнологическое исследование «О зырянах» ему была присуждена серебряная медаль Русского геогра-

фического общества, а за работы в области математики и астрономии он был избран членом Парижского астрономического общества. Философское толкование «Братьев Карамазовых», поэзия Аполлона и Диониса — все это он одинаково вмещал.

Глубокая эрудиция и популярная манера изложения — вот две основные приметы его интеллекта. «Моя крестьянская душа, — признавался он, — не может превратиться в «интеллигентскую». В науках я не любил деталей и анализа, в этом несчастье мое. В философии ищу я всемирных синтезов и Бога, и это идет вразрез с аналитическим течением мыслей современных философов. Я крестьянин, и вот погибая. Здесь классовая борьба выразилась в глубинах своих»²⁶.

Годы деятельности Жакова совпали с периодом тяжелого кризиса, который, вслед за реакцией в общественной жизни, переживала и философская наука. В трогательном этюде «Пустыня жизни земной» он писал об этой поре: «Потом Киев, Петербург... Что ж? Или профессора-кропатели, зубрили, или выкрики неучей: «Кант, Кант!» — Больше свету нет нигде. Мертвые люди, не выдавшие воды живой! Потом стали твердить мне: «Йоги! Самоуглубление!» — Какое? Куда? В сон безнадежный, или отупение, или кокаин! — «Окультисты!» — Какие? Где? (...) О боже! Какая пустыня жизнь земная!...»²⁷.

О внедрившихся в науку торгашах и спекулянтах Жаков думал, вероятно, все время, ибо вот ход его мыслей в очерке о Киеве: «Долго пил я чай, о многом размышляя... Напротив, на другой стороне улицы, вывеска «Евдокия Визентале истребительница крыс, тараканов, блох и др.». — Умница какая. А вот нет такой, которая уничтожила бы крыс, тараканов и блох много рода, жи-

²² Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 136.

²³ Чтобы понять весь комизм этой реплики, достаточно привести название одной из ранних публикаций К. Ф. Жакова: «Понятие бесконечности в алгебре, в анализе, в геометрии, в философии; проблема о бесконечности пространства; проблема о бесконечности вещества» (Вопросы философии и психологии, январь—февраль 1902, кн. 1(61), с. 568—580).

²⁴ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 34.

²⁵ Там же, с. 38.

²⁶ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 2, с. 130—131.

²⁷ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 135.

вущих в горнице культуры... Или не надо никого истреблять, — умиротворяя себя философ, — а оставить все для красоты»²⁸. Заметим, кстати, что приведенный текст вывески, вероятно, подлинный. Очень похожее объявление известно из газетных реклам: «Моль, клопов, крыс и всех родов насекомых каждый может скоро истребить средствами Виталия Визенталь, Бол(ьшая) Васильковская, № 76. Высылаю и наложенным платежом»²⁹.

Полная неудовлетворенность современным ему состоянием философской науки привела Жакова к мысли, что нужно что-то делать. Мотто к его книге «Основы эволюционной теории познания» (Спб., 1912) стали слова «Философия должна быть глубоко преобразована. Конеч временам, когда думали, что можно создать философию отдельно от наук о природе, а знание о природе независимо от постижения внутренних свойств человека».

Синкретизм мышления и основательные познания дали Жакову возможность создать оригинальное философское учение «лимитизм» — диалектическую теорию жизни и познания. Как признавал он сам, на его натурфилософские соображения о гомологичности явлений природы особенно большое влияние оказали мысли академика В. М. Бехтерева³⁰ о единстве мира, его попытки сблизить физическое и психическое при помощи понятия «энергия» и «воля»³¹.

К главной идее своего учения Жаков пришел так. «Одни думают, — размышлял он, — что все, что видим мы и слышим и осязаем, есть только наше сновидение. Проснемся, — и нет ничего. Существующее же неизвестно и не будет никогда познано. Другие думают наоборот. Все звуки, все цвета, все наши думы — все существует так, как пред-

ставляется, и мы, если хотите, все знаем.

«Долго обо всем этом думал я, лет 25. Даже отравился раз ядом, когда узнал, что сущность природы непознаваема.

«И вот лет 10 тому назад пришел я к мысли, что неверны оба мнения, выраженные выше. Мы отчасти знаем, отчасти не знаем. В этом прелесть и трагедия науки.

«То, что я вижу и слышу, и осязаю, — не совсем знание и не совсем незнание, оно в некоторой степени соответствует сущности. Мало того, наука и философия приближают нас все более и более к познанию сущности вещей.

«Вот к чему пришел я, и верю, и знаю, что это истина, хотя из-за этой истины должен был я уйти из университета и навсегда лишился карьеры; но моя карьера неважна, а важны идеи»³².

Своей теорией К. Ф. Жаков развил тот принцип прогресса в познании, который в общем виде высказал еще Гегель, считавший, что «познание катится вперед от содержания к содержанию. Прежде всего это поступательное движение характеризуется тем, что оно начинается с простых определенностей и что последующие определенности становятся все богаче и конкретнее»³³. В «Философских тетрадах» В. И. Ленин дал следующую оценку данному высказыванию: «Этот отрывок очень недурно подводит своего рода итог тому, что такое диалектика»³⁴.

К. Ф. Жаков развил идею Гегеля. По его мысли, развитие познания не беспредельно. Окружающая природа, а также наши представления и мысли — приближенная величина, пределом же является сущность вещей. «Наши ощущения, представления и в особенности понятия стремятся совпасть с вещами, как перенная величина стремится к своему пределу»³⁵. По-латыни предел —

²⁸ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 2, с. 119.

²⁹ Киевлянин, 1907, 29 декабря, № 358, с. 6.

³⁰ Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — выдающийся русский невропатолог, президент Психоневрологического института, в котором преподавал К. Ф. Жаков.

³¹ Жаков К. Ф. Основы эволюционной теории познания (лимитизм). Спб., 1912, с. 4—5.

³² Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 1, с. 97.

³³ Гегель. Сочинения, т. VI. М., 1939, с. 315.

³⁴ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 29, М., 1963, с. 212.

³⁵ Жаков К. Ф. Основы эволюционной теории познания, с. 10.

limitus, поэтому слово «лимитизм» дословно означает «философия предела».

Как прореагировали на его теорию в ученой среде, с большим юмором рассказал сам ученый: «Товарищи философы указывали мне: «Мы можем тоже придумать философию свою». — «Придумайте! — отвечал я им. — Разве я вам мешаю?» — «Нет, мы держимся авторитетов». «Держитесь!» (...) А друг Челпанов советовал мне: «Свяжите себя с авторитетами Запада, иначе мы вас не признаем. Истина не важна. Важно «академическое изложение». Бобровников говорил: «На вас жилет не европейский, вас не примут». Винклер говорил: «Гараморт! Или умри, или победи». (...) «Не дави на людей своим лимитизмом, — говорил Бехтерев, — все рассердятся». «Пощади философов, — советовал Бодуэн-де-Куртене, — ищи авторитетов на западе». (...) «Он не будет профессором, пока я жив, — утверждал профессор философии А. И. Введенский, утешая своих учеников, и прибавлял: — Гараморт — неизбежное зло в философии». (...) Аничков, мой друг, поучал меня: «Неправильно идешь, — говорил он, — ты сначала докажи, что знаешь то, что другие знают, а потом свое говори». Я благодарил его за совет, а сам издал книжки «Понятие предела в математике» и «Роль гипотезы в науках и в философии»³⁶.

С точки зрения своей теории ученый критиковал Эйнштейна: «При рассмотрении теории относительности Эйнштейна, — писал он, — нужно принять во внимание пространство и время как представления, как понятия и как бытие. У Эйнштейна же пространство и время рассматриваются только как понятия. Из относительного же знания материи, про-

странства и времени и других категорий мира не вытекает еще сама относительность этих категорий, если неизвестно то, по отношению к чему эти категории относительны, если неизвестны потенциальные пространство, время и материя»³⁷. Предполагалось, что лимитизм необходимо синтезирует науки, искусства и даже религии. Латышский поэт Ф. Лацис свидетельствовал: «Философия К. Ф. Жакова подействовала на меня ошеломляюще, ибо она была и есть синтетическая, дающая объединяющее понятие о мироздании (...)»³⁸. А в манифесте украинских кверо-футуристов, написанном поэтом Мих. Семенко, говорится: «Лимитивный кверо-футуризм Жакова синтезирует все предыдущее знание и вносит эволюционный принцип в познание»³⁹. Среди последователей ученого существовала договоренность после его смерти поместить его забальзамированное тело в специальном храме лимитизма. Оттуда его теория должна была распространяться по всему свету⁴⁰. ... Разработка проекта такого храма была поручена нескольким латышским художникам, в том числе Авотино⁴¹.

Поскольку теория лимитизма глобальна и синтетична, Жаков был вполне последователен, формулируя «Правила жизни по лимитизму» (рукопись датирована 9 декабря 1920 года). Рассмотрим же их как прямой вывод из его теории. Вот первое правило: «Никому не вреди, а всем, сколько можешь, помогай». Второе: «Стыдись всего того, что ниже твоего человеческого достоинства». Третье: «Жалей все живущее, ибо все страдают, а более всего грешники»⁴². Десятое: «Избегай плуце всего тех, кто строит из голов человеческих лестницу, ведущую на трон. Противоборствуй всеми силами против этих людей»⁴³. Под конец

³⁶ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 31—34.

³⁷ Там же, с. 170—171.

³⁸ Центральный государственный архив-музей литературы и искусства УССР, ф. 195, оп. 3, № 10.

³⁹ Семенко Михайль. Кверо-футуризм. Киев, 1914, с. 1.

⁴⁰ См.: тело проф. Жакова вырыто согласно его завещанию. — Сегодня, Рига, 1926, 3 февраля, № 26, с. 7.

⁴¹ И. Н. Проф. К. Ф. Жаков и лимитисты. — Сегодня, Рига, 1926, 5 февраля, № 28, с. 7.

⁴² Это перекликается с известной мыслью П. Тычины: «Нельзя любить Правду больше, чем Человека (...)». (Несмолкающие кларнеты поэта. Из записных книжек Павла Тычины. — Литературная газета, 1971 г., 13 января, № 3 (4289), с. 6; запись от 6 августа 1950 г.)

⁴³ ЦГИА ЛатвССР, ф. 1826, оп. 1, № 721, л. 41—41 об.

жизни он писал уже одними лишь тезисами, афоризмами, притчами, и надо сказать, что они производят впечатление мощное.

Взгляды такого пытливого ученого, писателя, мыслителя, каким был Жаков, не могли, конечно, всю жизнь оставаться одинаковыми, застывшими, раз навсегда данными. Эволюция его воззрений очень поучительна и нуждается в отдельном исследовании. Уже сейчас можно сказать, однако, что он беззаветно любил свой народ и был преданным его сыном. Живя постоянно в Петербурге, Жаков не забывал о нем ни на час. И если в то время о существовании малых народов Севера было что-то известно, то знали о них, может быть, главным образом потому, что жил такой Каллистрат Жаков, знали из его книг и статей, которые он публиковал в столичных журналах.

«Истрадавшийся народ коми, — читаем мы в журнале «Коми Му», — в лице Каллистрата Фалалеевича Жакова выдвигает человека для постижения основных пружин и источников своего угнетения, для завоевания науки. — Нужно сказать, что эта основная цель Каллистратом Фалалеевичем Жаковым выполнена — он «сквозь строй» прошел от «первобытности» до самых основ научной мысли и тем самым пробил дорогу для следующих поколений коми. В этом его национальное и интернациональное значение»⁴⁴.

Беспросветно тяжелой была жизнь народа коми в условиях царского режима. Когда Жаков думал и писал о своей родине, к его мыслям неизбежно примешивалась боль. Приезжая для этнографических и антропологических изучений, Жаков смотрел на все просветленными глазами философа, профессора, который видел и замечал то, с чем уже свыклись его земляки. Он видел их отсталость и забитость и скорбел о судьбах некогда великого народа в условиях дореволюционного времени.

С какой горечью писал Жаков о первых впечатлениях, вынесенных им из своих экспедиций! Когда он,

одетый по-городскому незнакомец, появлялся в селении, это вызывало всеобщий интерес. В окна показывались десятки удивленных, заинтересованных лиц, — «подходим, и лица исчезают», люди прячутся. Я, — рассказывает Жаков, — «вижу в окно Василия с густой, седой бородой, с морщинистым, волосатым лицом.

— Василий, а Василий?

— Его нет, — слышится голос с крыльца.

— Как же, я его вижу!

Василий в это время отошел от окна в глубь комнаты с моих глаз.

Мы с писарем отошли прочь от него»⁴⁵.

И вот для этих-то людей он и писал и жил.

В 1907 году министерством земледелия была организована так называемая Печорская экспедиция для исследования земель и природных богатств Вологодской губернии. Таково было официальное назначение экспедиции. Жаков, тогда еще начинающий ученый, принял участие в ней как северянин.

Деятельность экспедиции удивила его. Он заметил, что прямой своей задачей экспедиция будто и не интересовалась. Вместо изыскания природных богатств она занималась поисками земель, пригодных для земледелия, скотоводства, то есть в конечном счете для заселения.

Во время поездки на Север в следующем году сомнения, закравшиеся в душу Жакова, окончательно упрочились. Вот что он обнаружил.

Оказалось, что прибалтийские бароны, помещики, всегда игравшие видную роль в делах дореволюционной России, благодаря своим связям и влиянию при дворе решили переселить «бунтовщиков»-латышей из Лифляндской и Курляндской губерний на Север, в Вологодскую губернию. Мотивом для этого должно было служить революционное движение латышского народа в 1905 году. Для успеха дела бароны должны были иметь на руках готовый колонизационный план, который надлежащим образом могло выработать только министерство

⁴⁴ К. Ф. Жаков — Коми Му — Зырянский край, Усть-Сысольск, май 1926 года, № 5 (27), с. 48.

⁴⁵ Жаков К. Ф. На Север, в поисках за Памом Бур-Мортом. Спб., 1905, с. 74.

земледелия. На место выселенных латышей бароны предполагали поселить немецких колонистов. Таким образом, им удалось бы осуществить свою заветную цель — до конца онемечить Прибалтику.

Узнав все это, Жаков взбунтовался. В далеко идущих планах немецких прибалтийских помещиков он увидел обоюдную опасность — как для латышей, так и для его соплеменников. Жаков обратился в Академию наук, где нашел сочувствие. Академия согласилась с его доводами и послала в Государственную думу докладную записку с раскрытием коварных замыслов, — Дума отказала Печорской экспедиции в отпуске дальнейших средств. Этим замыслы немецких баронов были пресечены⁴⁶.

К. Ф. Жаков занимался проблемой этнографической территории коми. 23 февраля 1908 г. он обратился с докладной запиской в историко-филологический факультет Петербургского университета: «Моя поездка в 1907 г. летом, — писал он, — вывела ряд вопросов, решение которых имеет некоторое научное значение. Если начиная с Порога до Усть-Цыльмы по Печоре живут зыряне (а на карте 1875 г. указаны на этом месте русские), то след (овательно), или русские опермилась в этой местности, или были какие-либо передвижения в последние 30 лет. Эти же соображения возбуждают вопрос антропологического характера, в какой мере зыряне финны (антропологически), или они русско-финны»⁴⁷.

15 марта 1908 г. ректор университета запросил у попечителя Петербургского университета разрешение «выдать магистранту на кафедре

сравнительного языкознания К. Ф. Жакову на поездку в область рек Печоры и Ижмы для изучения быта и поэзии зырян пособие 50 рублей из специальных средств университета»⁴⁸.

В результате исследований, проведенных на месте, Жаков полностью опроверг ошибочные показания старой этнографической карты Риттиха, написал труды «К вопросу о составе населения в восточной части Вологодской губернии» (СПб, 1908)⁴⁹, «Историко-статистический очерк зырянского населения»⁵⁰ и др.

К. Ф. Жаков ревностно изучал фольклор северных народов, собирал их предания и сказки. Одним из первых фольклористов, записывая песни, он использовал граммофон⁵¹.

Важной заслугой Жакова следует считать и то, что он первым обратил внимание общественности на произведение И. А. Куратова. Делая доклад о соотношении японского и самоедского языков к угро-финским, в частности к языку коми, он сказал, что стихи зырянского поэта, обнаруженные им в с. Визеньги Усть-Сысольского уезда, представляют большой интерес⁵². Напомнил он и о забытых Ключкове, Лыткине, Гугове. «Ни зыряне, ни русские не знают их», — сетовал Жаков⁵³.

Рассматривая свой народ во всевропейском историческом и культурном контексте, Жаков высказал предположение, что самостоятельность «новых» народов может послужить резервом для оздоровления «уставших» народов Запада⁵⁴. Как некогда А. Бобровский, автор драмы «Конкуренция», Жаков мечтал о развитии «третьей литературы» — не лубочной и не интеллигентской, а подлинно народной. По его мысли, эта

⁴⁶ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 17—19.

⁴⁷ Ленинградский государственный исторический архив (далее: ЛГИА), ф. 14, оп. 1, № 9605, л. 43—43 об.

⁴⁸ Там же, л. 41.

⁴⁹ Оттиск из «Ответа о деятельности Отделения русского языка и словесности Имп. академии наук» за 1907 г.

⁵⁰ Труды экспедиции по исследованию земель Печорского края Вологодской губернии. Том 1. СПб., 1909, с. 1—77, отделен. пагинации.

⁵¹ Огронович В. Творчество К. Ф. Жакова. — Архангельские губернские ведомости, 1911, 10 февраля, № 32, с. 3.

⁵² Доклад К. Ф. Жакова. — Известия Архангельского общества изучения Русского Севера, 1 августа 1913 г., № 15, с. 713.

⁵³ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 1, с. 127.

⁵⁴ Там же, ч. 2, с. 84.

литература выразила бы, «как увядает, как борется свежий человек, попавший в центр (буржуазной) культуры. По нашему мнению, это — литература грядущего, писательство о гибели и торжестве» человека, не испорченного этой извращенной культурой, вступившего в смертельную борьбу с ее ложными сторонами⁵⁵.

Он обращался мыслью к своим соотечичам: «А тем из северян, кто будет писать повести и рассказы, увлеченный моим или другим примером, скажу я следующее. Прежде всего, нужно учиться. Кончить университет обязательно. Затем принять все меры, если возможно, быть ученым и лектором, ибо это самые независимые люди. Быть просто писателем — тоже большое несчастье. Между литераторами клевета, зависть, погоня за славой, бедность, гонение, за исключением некоторых счастливых. По заказу писать последнее дело. Писать нужно от избытка чувств и мыслей. Карьеру нужно строить не на писательстве, не на науке, а на ремеслах. Кроме того, прибавлю, что писатель должен быть пропитан великими классиками. Боже мой! Чему может научить Гомер! Если читать его на протяжении всей жизни. Или Сервантес, или светозарный Ариост!»⁵⁶.

Огромное значение К. Ф. Жаков придавал единению славян на почве науки и философии. Так и называется одна из его работ, с которой он выступил в 1909 году⁵⁷. Тогда же, 14 мая, на заседании «Общества взаимности славянских ученых» под председательством акад. Бехтерева он выступил с речью⁵⁸.

Тесные связи поддерживал Жаков с Украиной. Здесь в 1896—1899 годах он учился, причем этот период оставил по себе очень глубокий след

в его душе и мировоззрении. С Киева начинает Жаков, излагая историю лимитизма⁵⁹. К нему он возвращался впоследствии в своей прозе⁶⁰ и всегда продолжал ее любить: «Киев! краса городов русских, неужели суждено было мне, мрачному северянину, взглянуть на светлые твои холмы, (...) удивляться разнообразию твоей архитектуры, где нашел я все переходы от малорусских хат на окраинах города до дворцов, украшенных всеми богами и дьяволами всех времен и народов (...). Не передать мне моих настроений, пережитых там, где я стал впервые поэтом и лил тихие слезы, идя по улицам, глядя на киевлян (...)». И чуть ниже: «О Киев, Киев! лучшие годы мои, годы художественного подъема и веры в себя — зачем так быстро прошли вы!»⁶¹.

Одним из учеников Жакова был лидер украинского футуризма Михайль Семенко, написавший популярное изложение теории лимитизма в виде отдельной книги (в свет не вышла)⁶².

Вокруг Жакова всегда собиралась молодежь. Ученый много думал и писал о воспитании человека. В одной из его рукописей можно прочесть: «У осетин человек до пятидесяти лет не имеет прав выступать перед народным собранием. Он считается человеком незрелого ума. Нынешние дети с 5 лет уже изучают грамматику и арифметику, уже выдают скорбь жизни. У них уже нет мечты небесной»⁶³. Жаков считал, что краткое детство губительно для гениев, потому что гении живут его впечатлениями. А газета «Голос Приуралья» сохранила такую его мысль: «Иногда для того, чтобы погиб поэт, достаточно, когда в младенчестве над его колыбелью нянька не поет песен...»⁶⁴

⁵⁵ Жаков К. Предисловие. — В кн.: Скороходов Моисей. Песня первая. Стихи. Пг., 1916, с. 4.

⁵⁶ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 1, с. 127.

⁵⁷ Жаков К. Единение славян на почве науки и философии. — Вестник знания, 1909, № 5, с. 616—617.

⁵⁸ Речь, 1909, 15 мая, № 131.

⁵⁹ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 27.

⁶⁰ Жаков К. Ф. На берегу Днепра. — В его кн.: Из жизни и фантазии. Спб., 1907, с. 5—20.

⁶¹ Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни, ч. 2, с. 57—58, 65.

⁶² См.: Семенко Михайль. Кверо-футуризм, с. 3 об.

⁶³ ЦГИА ЛатвССР, ф. 1826, оп. 1, № 726, л. 31.

⁶⁴ Лекции проф. Жакова. — Голос Приуралья, 1912 г., 14 июня, № 128, с. 3.

Об одном из своих персонажей (Нялае) Жаков писал, будто о себе: «Он был вне установлений жизни и ее законов, не вмещааясь ни в какие нормы»⁶⁵. Зная уже немного об этом удивительном человеке, читатель вправе предположить, что его собственный метод преподавания был вполне оригинален. И это действительно так. Едва ли рисуясь, Жаков рассказывал: «Кареев, Серебренников и Лазурский спрашивали меня на совете: «По каким курсам вы экзаменируете студентов?» — «По своим», — ответил я. Они всплеснули руками. (...)

— Ведь ваши курсы не утверждены министерством.

— В этом они не нуждаются. Я не могу ходить по вопросам философии и логики в канцелярию министерства. У них в канцелярии задачи иные, а не поучать философов.

Всплеснули опять руками Кареев и Серебренников, оставив меня в покое, видя, что я безнадежен по части карьерности и практики жизни. А я думал о том, как согласить арифметику с алгеброю логики и с учением о тенденциях»⁶⁶.

За всем этим угадывается лукавинка провинциала, охотно декларирующего свою наивность, чтоб удобнее спрятаться от суровых правил, по которым, увы, приходилось как-то жить. Но искренне, полными негодования словами изобличал он современную ему гимназическую систему, популяризируя педагогические идеи А. С. Черняева: «Мы говорим всегда на основании учебников, написанных на Западе, и отвыкаем что-либо видеть своими глазами и слышать своими ушами. Мы как раз идем в направлении, обратном великому изречению Сократа: «Познай самого себя». Мы следуем изречению: «Знай все, кроме себя». Это невольное лицемерие с юных лет создает слабость характера».

«Мы не знаем истории своей культуры, ни истории философии, ни ис-

тории быта. (...) Изучается ли в низших и в средних школах, — спрашивал Жаков, — флора и фауна своего уезда, топография местности, богатства края, этнографические особенности того уголка, где находится та или иная школа? Нет. Во всех школах мы изучаем или древний мир греко-римлян, или запад. (...) Вот почему видим мы в жизни нашей такое обилие Рудиных, Тентетниковых, Базаровых, Раскольниковых и Карамазовых. (...) С одной стороны, невежественные самородки, самобытники, с другой стороны, ученые, которых не знает народ»⁶⁷.

Другую причину слабости характера молодежи Жаков усматривал в подборе школьной литературы. Изучаемая в гимназиях литература, утверждал он, дает только лишь образцы неудачников, а жизнеописания сильных людей мы не изучаем. «Необходимо изучать биографию сильных, великих людей»⁶⁸.

Тон лекций, которые К. Ф. Жаков читал в Психоневрологическом институте и, собственно, в любой другой аудитории, «был поучительный». Он убедительно поучал своих слушателей, иногда превращаясь из преподавателя логики в сильного проповедника-моралиста и учителя истины»⁶⁹.

Жаков не терпел, когда на экзаменах студенты рассказывали, что они заучили, вместо того, чтоб показать, как они научились сами мыслить: «Иной припоминал взгляды старого Аристотеля, которому не дают люди мирно спать столько уже времени, ибо люди не привыкли думать от первого своего лица, а начинают с того, как кто-то где-то думал... Это основной тип учениости... Самый высший ученый тот, который не сказал ни одного своего слова, даже не обмолвился, пережив мысли безответственных, мирно спящих, древних людей...»⁷⁰.

Разрабатывая теорию прогресса в науке, К. Ф. Жаков не мог не заду-

⁶⁵ Жаков К. Ф. Нялай. — Северное утро, Архангельск, 1911, 24 августа, № 54, с. 2.

⁶⁶ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 34.

⁶⁷ Жаков К. Педагогическая идея А. С. Черняева. — В кн.: Александр Сергеевич Черняев. Биографический очерк. (Пг., 1916), с. 55—57.

⁶⁸ Там же, с. 57.

⁶⁹ Янович Дан. Каллистрат Фалалеевич Жаков. — Коми Му, январь—февраль 1926 года, № 1—2 (23—24), с. V—VI.

⁷⁰ Жаков К. Ф. Своясь строй жизни, т. 3, вып. 1. Спб., 1914, с. 43—44.

маться о будущем людей. Он выстрадал мечту о светлом грядущем. В речи на открытии психологической секции Психоневрологического института он сказал: «Идеальная, грядущая социальная община не иллюзия, ее пришествие гарантировано общей эволюцией мира и деятельностью людей, этих фокусов солнечной и земной энергии. (...) Кончим свою речь нашим удивлением пред грядущим человеком, который будет продолжением прошлого и развитием настоящего, но будет прекраснее всех бывших до него людей, — нашим пожеланием, чтобы никогда мы не забывали идеала еще «неродившегося», в котором назначение земли и творческого начала природы, который в нас и мы в нем. (...) Мы не можем противостоять поднимающей нас волне, идущей по законам ритмической, вселенской эволюции!»⁷¹

В архиве Психоневрологического института ленинградский исследователь А. В. Шабунин выявил донесение градоначальника, генерал-майора Драчевского попечителю учебного округа от 4 января 1913 г. В донесении говорится, что «из числа профессоров Психоневрологического института особенно выделяются своим левым направлением профессор социологии Де-Роберти, Тарле и заведующий студентами Жаков»⁷².

За квартирой Жакова было установлено наблюдение. 2 июля 1914 г. в Особом журнале совета министров появилась запись о «состоявшихся в 1912 и 1913 годах на квартире заведующего студенческими делами института профессора Жакова систематических собраниях учащейся молодежи из разных учебных заведений столицы для чтения якобы научных лекций, но на деле — для обсуждения политического свойства вопросов»⁷³.

Когда осенью 1915 года совет института принял решение отстранить Жакова от должности заведующего студенческими делами, студенты возмущались таким решением. 16 де-

кабря они поднесли Жакову адрес, в котором говорилось: «Наш учитель, наш друг и товарищ! В черную годину лихолетья и реакции, накладывающей свою тяжелую руку на всякую творческую идею, Вы шли прямой дорогой (...) и всемерно содействовали росту нашей самостоятельности»⁷⁴. Под адресом стояло 400 подписей. Так дружно поддержало любимого учителя и друга левое студенчество.

В апреле 1917 г., получив по болезни отпуск, Жаков выехал вместе со студенткой, ставшей его женою, на хутор ее отца на границе Латвии и Эстонии близ города Валки. Изредка читал лекции в зале Юрьевского учительского института. Вокруг него сразу составилась «Кружок латышских офицеров — слушателей лекций профессора К. Ф. Жакова в Юрьеве». В том же 1917 году этот кружок выпустил его брошюру о воспитании, отразившую его восторженное отношение к революции: «В наши дни, когда находимся мы на дне эволюционной волны, когда старое разрушается, нужно созидать новое во всех областях воспитания и преподавания.

Этим призывом идти навстречу народным массам я и кончаю эту лекцию.

Все, что мы знаем, мы должны передать народу.

Это наш долг!»⁷⁵.

После установления Советской власти Жаков подал на конкурс в Тамбовский университет (избран профессором), Зырянский педагогический институт в Усть-Сысольске (также избран профессором). Он стал, однако, преподавателем Псковского педагогического института. В Петроград ученый уже не вернулся, так как занятия в Психоневрологическом институте были приостановлены. Крайне бедствуя, он осел в Прибалтике: жил в Тарту и Риге.

Сохранилось письмо руководства Вятского института народного образования от 13 ноября 1919 г., направ-

⁷¹ Жаков К. Принципы грядущего оптимизма. — Вестник знания, 1910, № 7, с. 768—769.

⁷² Архив музея им. В. М. Бехтерева, ф. 5, № 87, л. 1.

⁷³ Там же, № 99, л. 6.

⁷⁴ Северное утро, 1916, 15 ноября, № 254. Сведения любезно предоставлены А. В. Шабунным.

⁷⁵ Жаков К. Ф. О воспитании. (Юрьев), 1917, с. 16.

ленное им в Петроград, по адресу университета:

«Профессору Жакову
Каллистрату Фалалеевичу.

С начала сего 1919—1920 учебного года при Вятском институте народного образования открыт краевой подотдел, в программу которого между прочим внесены предметы по заряноведению, как-то: история, этнография и язык коми. Подотдел уже начал функционировать. Читаются лекции по истории, этнографии и языкам мари и удмурт. В числе студентов института ныне имеется и коми — 4 человека. В будущем предложено пригласить особых преподавателей по зырянноведению. А в нынешнем году советом института постановлено устроить чтение ряда эпизодических лекций по зырянноведению.

Совет института приглашает Вас, Каллистрат Фалалеевич, на 20 лекций по этнографии и истории зырян.

Если Вы найдете возможным прочитать нашим слушателям 20 часовых лекций по этнографии и истории зырян, то можете приехать в город Вятку по своему (по времени) усмотрению, когда Вам удобнее.

Совет института со своей стороны может возбудить пред учреждением, где Вы в настоящее время служите, особое ходатайство об освобождении Вас на время для поездки в город Вятку. Плата за чтение эпизодических лекций по ставке для Вятки по 250 рублей за часовую лекцию.

Совет просит Вас сообщить о своем решении.

Председатель правления
(подпись).

Член правления (подпись).

Делопроизводитель
(подпись)»⁷⁶.

В Вятку был направлен ответ:

«В Вятский институт
народного образования.

В ответ на отношение от 13-го сего ноября за № 2124, Единый петроградский университет сообщает, что профессор Каллистрат Фалалеевич

Жаков не служит в сем университете и что университет лишен возможности передать профессору Жакову присланное отношение Вятского института от 13-го сего же ноября за № 2125, так как адрес профессора Жакова университету неизвестен»⁷⁷.

Архивные материалы, воспоминания, в изобилии собранные внучкой Жакова Любовью Вадимовной, рассказывают о его жизни в это время. Оказывается, в Прибалтике Жакова разыскивало Вологодское общество изучения Северного края, и опять это письмо не дошло до него. На многочисленные обращения в различные культурно-просветительные учреждения буржуазной Эстонии и Латвии с просьбой разрешить ему чтение лекций он зачастую получал отказ. Некоторое время К. Ф. Жаков преподавал зырянский язык в Юрьевском университете, где у него был только один-единственный студент. Пришел голод. Дочь Жакова Райда Каллистратовна вспоминает: «Мы ходили более на героев Максима Горького из пьесы «На дне», чем на детей живого, мыслящего профессора»⁷⁸.

Вот его подлинное письмо Э. Гросвальду: «Я по утрам сижу без самовара. Не дают. (...) Кроме того, по утрам нет хлеба. Денег нет на папиросы. И вот просьба моя — нельзя ли по утрам у Вас пить чай и писать. Второе, нет ли у Вас 100 р.»⁷⁹. Весь ужас положения, в котором он оказался, Жаков выразил в письме в редакцию «Последних известий» от 14 сентября 1921 г.: «Я считаю жизнь свою уже ликвидированною. Мне 55 лет. Я стар и болен. Незыблемая тоска сжимает душу мою, ибо погибло все вместе с родиной. (...) Вся моя жизнь — скорбь, но ничто не сравнится с печалью последних лет»⁸⁰.

20 января 1926 года Жаков умер в Риге. Последние слова его были: «Где мои мысли?»⁸¹.

Так жил, мыслил и страдал Каллистрат Фалалеевич Жаков — зырянский Фауст и профессор философии.

⁷⁶ ЛГИА, ф. 14, оп. 1, № 9605, с. 48—48 об.

⁷⁷ Там же, л. 49.

⁷⁸ Любезное сообщение Л. В. Жаковой в письме от 10 марта 1979 г.

⁷⁹ ЦГИА ЛатвССР, ф. 1826, оп. 1, № 727, л. 39.

⁸⁰ Там же, № 721, л. 40—40 об.

⁸¹ Жаков К. Ф. Лимитизм, с. 25.

Модрите ЛУСЕ

КАКИМ БЫТЬ СЕЛЬСКОМУ ДОМУ

Архитектура в латвийском селе веками творилась народными умельцами — либо это крестьянин, либо ремесленник из города. Известных мастеров строительного дела приглашали лишь в особых случаях, таких, как сооружение барочных ансамблей в Рундале (1736—1768, Растрелли) и в Краславе (1755—1767, Парака). В XIX же веке профессиональные мастера — рижские, петербургские и берлинские архитекторы — повсеместно приглашаются для обновления помещичьих усадеб, а также для возведения культовых зданий. Распространяется эклектизм, причем в самых различных его проявлениях, начиная с элементов романтики и кончая классицизмом. В конце XIX — начале XX века появляются и постройки в стиле модерн.

Новые формы не меняют облика крестьянской усадьбы — тут по-прежнему преобладают срубленные дома.

Кирпичные и каменные новостройки сельских общин — школ, волостных правлений, приютов для престарелых и т. п. — как правило, аскетичны. Декора вообще нет или он создается скромными средствами, чаще всего фигурной кирпичной кладкой.

После первой мировой войны социальный заказ на сельские постройки резко меняется. Прекращается строительство дворцов и барских усадеб, появляется необходимость в жилых домах примерно для 50 000 вновь образованных крестьянских хозяйств. Публикуются «образцовые» проекты таких зданий, некоторые застройщики даже приглашают специалиста — техника, изредка архитектора. Поиски средств выразительности для сельских зданий ведутся

представителями местной архитектурной школы. Под влиянием исследования профессора архитектурного факультета ЛГУ П. Кундзиньш формируется течение, приверженцы которого черпают архитектурные формы и мотивы декора для сельских построек из народного зодчества. Представители другого течения этой школы создают сельские постройки приемами рациональной архитектуры.

Без преувеличения можно сказать, что новая эра в развитии сельской архитектуры Латвии открывается в период коллективизации. Впервые в роли заказчика выступают коллективные и государственные хозяйства, возникает потребность в постройках и в поселках небывалых ранее на селе типов, строительное дело переходит в руки специалистов.

На первых порах существенных изменений не происходит. Отработанные в 20—30-е годы формы достаточно хорошо вписываются в тогдашнее ретроспективное направление советской архитектуры. Строящиеся 1—2-квартирные жилые дома зачастую украшает крыльцо на деревянных подпорах с резным орнаментом и добротные входные двери с рисунком в елочку, а архитектура школ решается сдержанной пластикой объемов. Как акцент используется ритмическая группировка оконных проемов.

Резкие изменения наступают в начале 60-х годов с курсом на урбанизацию села. Приживается упрощенное отношение к сельской архитектуре и строительству. Концентрация населения, структура поселка, организация жилой среды — во всем этом видно подражание городу. Поспешно разрабатываются схемы застройки поселков, формируется ти-

пология зданий, а между тем заглушаются поиски архитектурных форм, архитектурного языка. Сельское строительство на довольно длительное время полностью подчиняется «диктатуре» стройиндустрии в самом узком ее понимании. Внешняя оболочка зданий является точным отражением донельзя ограниченных возможностей этой индустрии в выборе материала и конструктивной схемы.

Кризисное состояние сельской (и городской) архитектуры становится очевидным во второй половине 70-х годов, когда, в основном в признанных перспективными поселках, накопилось достаточно не только невыразительных, но и просто безобразных построек, формирующих среду, отрицательно влияющую на эмоциональный настрой людей. Горький опыт побуждает оглянуться, переоценить ценности.

Кое-где заказчики начинают формировать собственные строительные бригады, борясь с давлением стереотипов. Объявляются конкурсы на сельские новостройки, учреждается должность архитектора хозяйства. В среду сельских архитекторов проникают идеи постмодернизма, под влиянием которых возрождается поиск архитектурного языка, соответствующего современным условиям и свойственного ментальности латышского села.

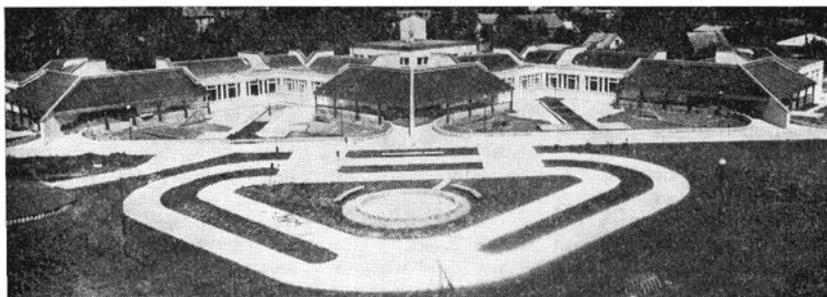
Чем схожи лучшие постройки последних лет? Тем, что их типологическое содержание и функциональное решение разрабатываются на основе созданных в 60—70-е годы нормативов и тем, что технические решения определяются желанием заказчика сочетать индустриально изготовленное с работой ремесленника. Изу-

чаются деревянное народное зодчество, кирпичная архитектура конца XIX — начала XX века, модерн Риги, особенно дома в духе национального романтизма, а также различные течения рациональной архитектуры 20—30-х годов нашего века.

Широту диапазона поисков можно сравнить лишь с периодом эклектизма. Но существует принципиальное различие в отборе и применении заимствованного материала. В эклектизме нормой считается пересадка, творческое повторение «готовых кусков», например системы декоративных форм. Современная же сельская архитектура заимствует лишь образ и мотив для его воплощения: монументальность четырехскатной соломенной крыши крестьянской риги, экспрессивность и «чистоту» архитектурного языка национального романтизма, уравновешенность композиций рациональной архитектуры. Мотив осмысливается, перерабатывается, при этом учитываются особенности конкретных природных и градостроительных ситуаций, пожелания и возможности заказчика.

Можно ли считать, что на селе Латвии утвердилось единое архитектурное направление? Думается, что нет. Пока в основном нарушаются стереотипы 60—70-х годов и утверждается индивидуальность архитектора. За последние годы раскрылся почерк Аусмы Скуини, Лаймониса Тикманиса, Зайги Гайле.

Представленные на конкурсах и выставках проекты говорят о том, что сегодня сельская архитектура Латвии перестраивается, поворачиваясь к интересам человека и выражая личностный потенциал зодчего.



Детский сад в поселке Туме. Архитектор Марите Брузе.



СТРОИТЕЛИ МОСТОВ

Сейчас о них много пишут. Их показывают по телевизору, они дают интервью, их фотографии публикуют в центральных изданиях. На одном из снимков виден учебник, с помощью которого они берут старт в ту специальность, которая должна стать для них делом жизни — латышская азбука для 1-го класса «АВС».

Внимание, проявляемое к этим двум десяткам вчерашних школьников, понятно и объяснимо: по инициативе Союза писателей и ЦК комсомола Латвии они съехались со всех концов страны в Ригу, чтобы, получив университетское образование в ЛГУ им. П. Стучки, стать профессиональными переводчиками с латышского языка. Так был дан старт уникальному начинанию. Уникальному, потому что первому.

Зураб Медулашвили из Тбилиси: «Я читал Райниса, Альберта Бэла, Зиедониса... читал по-русски и по-грузински. Мне нравится латышская культура, и знаю, что перевод — это мост, сближающий народы. Поэтому я здесь...»

Бахтияр Хасанов из Узбекистана: «Никто еще не переводил на узбекский язык латышских писателей, и я хочу быть первым, кто это сделает».

Бахты Паймун из Душанбе: «В «Дружбе народов» я прочитал очерк Юрия Ивановича Абызова, как непросто переводить с латышского языка. Решил сам попробовать...»

Разные пути привели их в кабинет Андрея Упита в Союзе писателей, где их приветствовало руководство Союза писателей и ЦК комсомола республики и представители ЦК КП Латвии, и редакторы республиканских журналов: кто-то уже пробовал свои силы в прозе и поэзии, кто-то уже печатался как журналист, а кому-то просто «позвонили и предложили». Не все из них, надо думать, одолеют пять нелегких студенческих лет, не для всех латышский станет «вторым родным» языком, на котором можно видеть сны; кто-то, возможно, разочаруется в избранной специальности. Останутся самые лучшие, самые преданные.

Но до этого еще далеко. А сегодня Янис Петерс обращается к ним со словами: «Добрый день, дорогие друзья! Вы все будете нашими детьми...», и слова эти — не дань вежливости; они идут от души, потому что мосты, которые пролягут между народами, должны быть выстроены людьми, любящими и знающими свое дело, и сегодня вся наша любовь, все надежды обращены к ним.

К ЧИТАТЕЛЮ

В настоящее время в редакцию «Даугавы» неоднократно приходят письма читателей со всех концов страны, в которых они жалуются на неполучение тех или иных номеров журнала.

За разъяснением редакция обратилась к начальнику цеха экспедирования печати Издательства ЦК КП Латвии М. Демидовой.

— Так как со второго полугодия 1987 года, — сообщила она, — журнал «Даугава» переведен на экспедирование по карточной системе, общее количество журналов высылается непосредственно в предприятия связи, где проживают подписчики.

С претензиями о неполучении того или иного номера журнала просим обращаться в отделение связи по месту обслуживания, где находятся Ваши доставочные карточки, или в городское, районное агентство «Союзпечать» по месту оформления подписки.

Авторы снимков в тексте: Айварс Лиепиньш, Мартиньш Зелменис, Валериан Шайцанс (3-я стр. обл.), Гунарс Янайтис

На первой странице обложки: жилой дом в поселке колхоза «Марупе». Архитектор Аусма Скуиня.

Фото Андриса Тенаса

На четвертой странице обложки: здание общественного центра колхоза «Тервете» в Кроньяуце. Архитектор Андрис Вайновскис.

Фото Андриса Криевса

Сдано в набор 11.03.88.
Подписано к печати 14.04.88. ЯТ 00113.
Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,
мелованная бумага. Высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.печ. л., 9,86 ус. кр.-отт.,
9,79 уч.-изд. л. Тираж 37 000.
Заказ № 294. Цена 45 коп.
Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.
Баласта дамбис, 3.
Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996.
отд. прозы 465992,
отд. поэзии 465993.
отд. критики и публицистики 465990.
техн. секретарь 465993.
Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии.
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор
Мудите АРАЯ.

Корректор
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Клеть и
жилая рига —
школа из
окрестностей
Валмиеры
(этнографи-
ческий музей)
Фото
Угиса
Ниедре



Поместье
Пелчи.
Усадьба
(начало
XX века)
Фото
Яниса
Зилгалвиса



Административное здание колхоза «Кекава». Архитектор Лиесма Скуя.

Фото Индрикиса Стурманиса

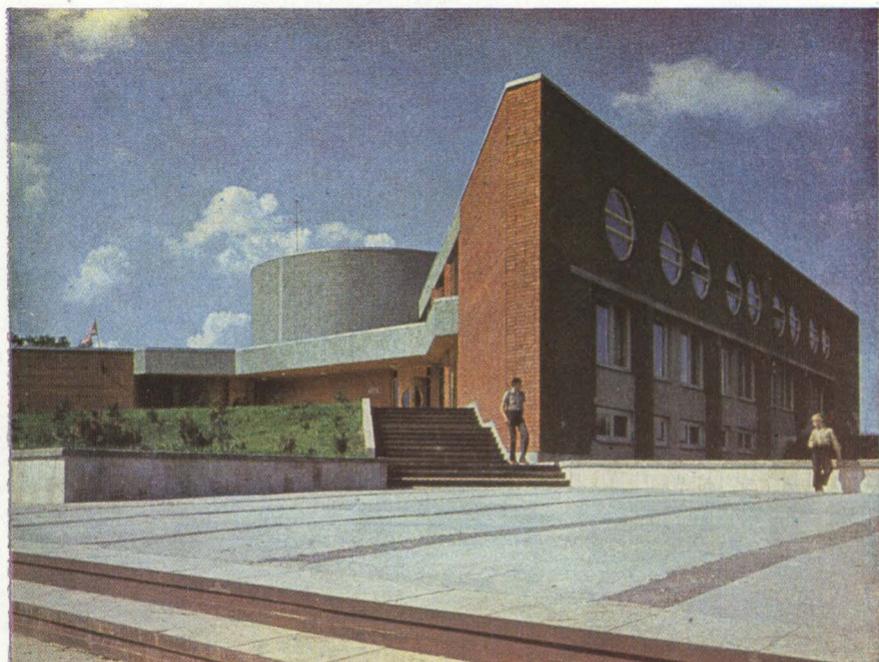


Дом культуры, административное здание в Рундени. Архитектор Лаймонис Тикманис.

Фото Андриса Криевса



Административное здание колхоза «Ренда». Архитектор Лаймонис Тикманис.
Фото Андриса Криевса

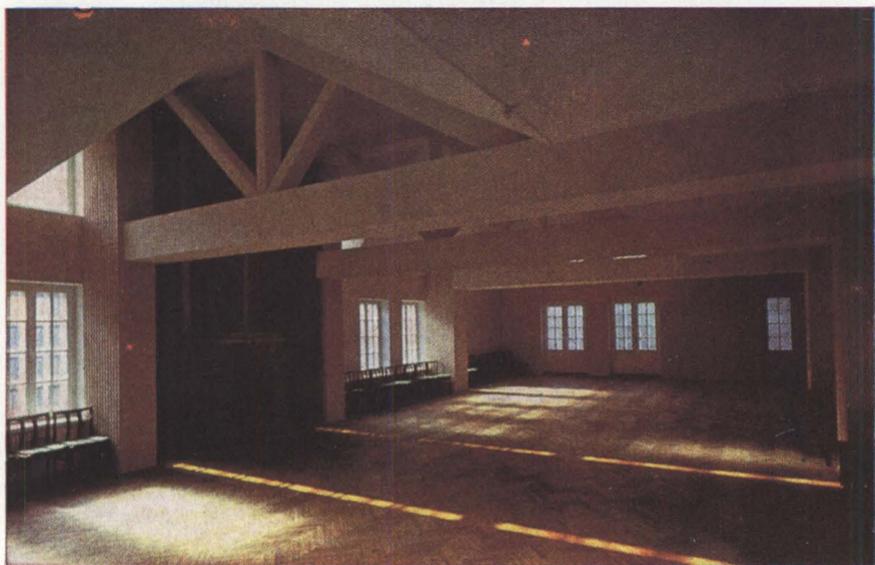


Административное здание в Мадлиене. Архитекторы Зигурдс Лаздиньш,
Мейнардс Мединскис.

Фото Индриниса Стурманиса



Здание комбината бытового обслуживания в Пампали (реконструкция водяной мельницы). Архитектор Лаймонис Тикманис.



Комбинат бытового обслуживания в Пампали. Интерьер. Фото Андриса Криевса



Исторически сложившийся сельский центр Яунпилс. Реконструкция ансамбля Эргельниени. Архитектор Эдвинс Калниньш.

Перепроектировка типового проекта детского сада. Архитектор Аусма Скуиня.



